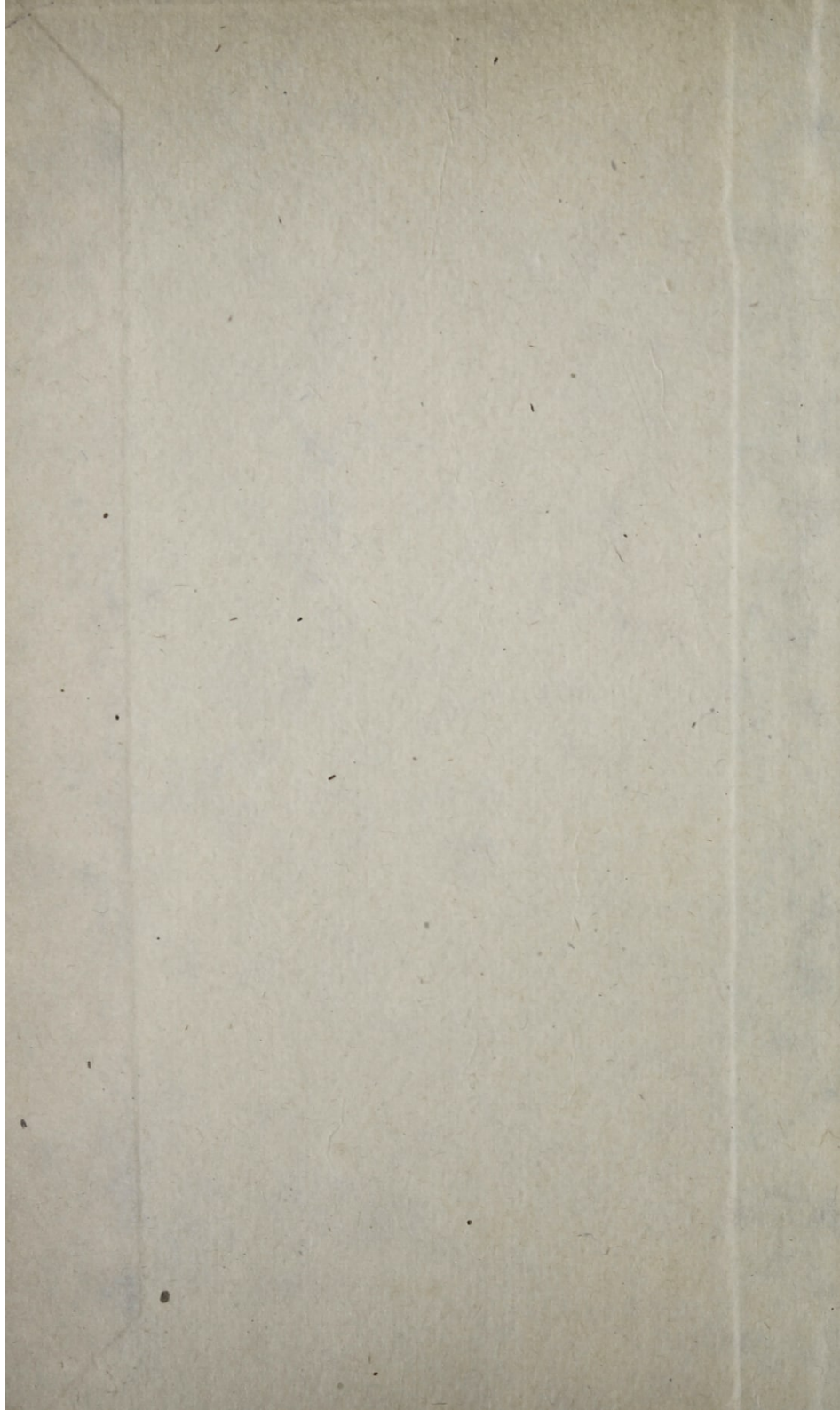
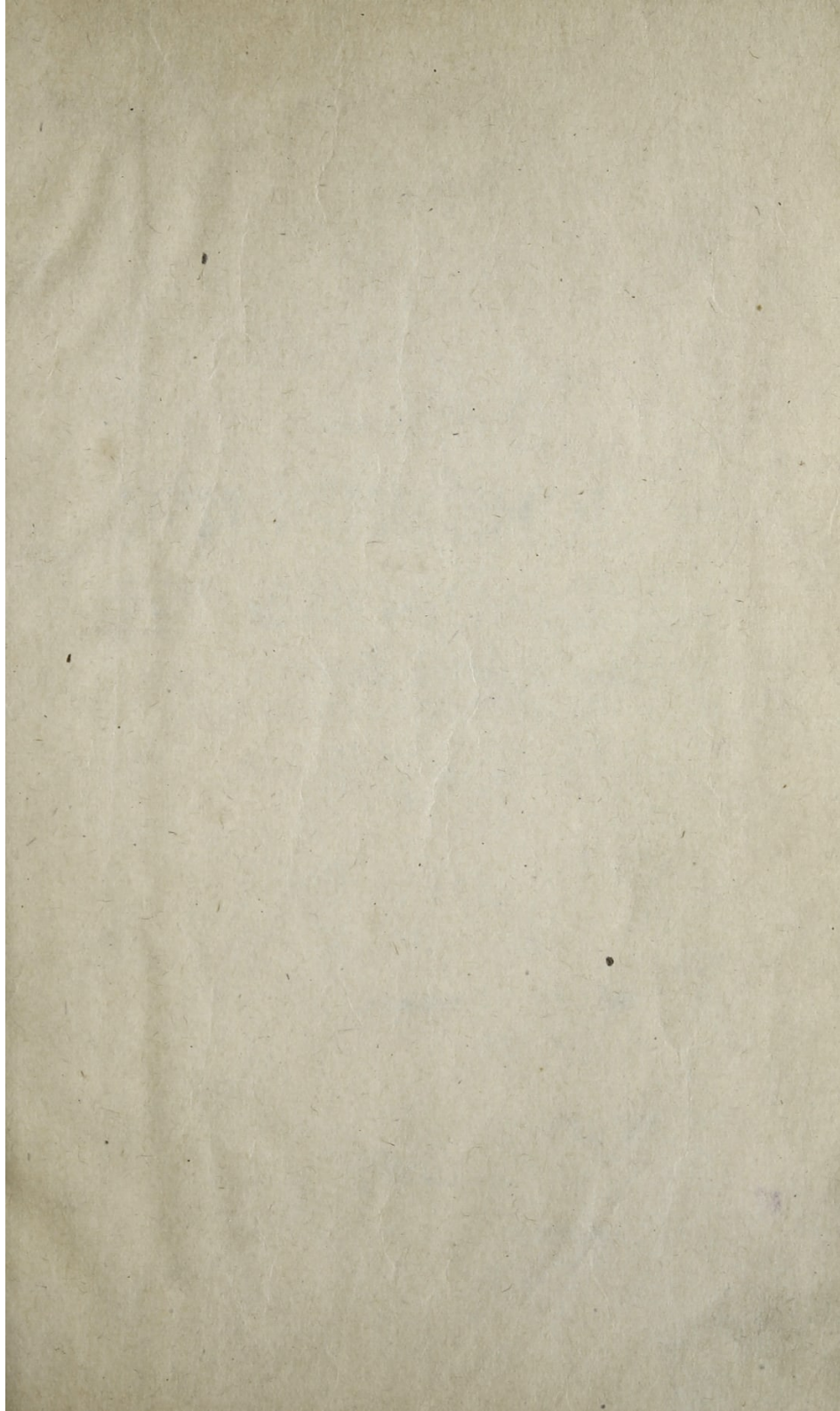


1629к 7









169

ЖИВОПИСНОЕ СЛОВО.

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ, ОЧЕРКОВ И РАССКАЗОВ
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.



Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевед.

7 010

TK

Государственное



издательство.

Иваново-Вознесенское отделение.

1921 г.

94

ЖИВОПИСНОЕ
СЛОВО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТНИЦА ГИЗ
ВЪ РАССКАЗѢ

Издательство ГИЗ
Одесса

Р. В. Ц. Иваново-Вознесенска — ГИЗ № 71 — Напечатано 2500 экземпляров
оттисков с Губернского Календаря на 1921 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Помещаемые ниже стихотворения, очерки и эскизы молодых пролетарских поэтов нашего текстильного края (без этого не был-бы полон наш исторический справочник за 1920 год), далеко, конечно, не охватывают все многообразие, разнообразность и оригинальность творчества наших самородков и талантов.

Наиболее ярко отображена вся сила творчества наших Иваново-Вознесенских поэтов в сборниках „Крылья свободы“, „Красная улица“ и „Сноп“, вышедших Государственным Издательством. Эти сборники служат лучшей иллюстрацией больших возможностей, которые таит в себе такие поэты, как М. Артамонов, Ив. Жижин, Дм. Семеновский и др.

„Живописное слово“ — это поэтическая амальгама, пестрая мозаика настроений, мыслей и чувств пролетарских авторов.

Каждый из авторов выступает в своем собственном обличье, в свойственных каждому из них тонах и мотивах творчества, мировоззрения и мировосприятия.

Вот М. Артамонов, поэт, прекрасно знавший с русской деревней, великолепно владеющий всеми оборотами и приемами старорусской поэтической речи, и умеющий наиболее тонко и глубоко передать всю сущность крестьянской психологии, праздничный ритм, яркость красок и звонкость напевов такой на вид унылой и грустной русской деревни. Автор, долгое время живший в деревне, сумел найти на своей богатой праздничной палитре яркие краски для изображения русской деревни. Некоторый упрек можно сделать автору за то, что в своих стихотворениях он передо сбивается на нечто привычное и фольговое, что делает

его живописания русской природы несколько натянутыми. М. Артамонов не ограничивается мотивами деревни, в его стихах имеет свое отражение фабричный быт, тяжелая каторга капиталистической неволи.

По сравнению с М. Артамоновым, Ив. Жижин кажется более тяжеловесным, громоздким и массивным в манере и содержания своего поэтического творчества. В творчестве И. Жижина чувствуется большая широта поэтических интересов и горизонтов, большая глубина содержания и насыщенность, плотность образов и красок. Поэт неуклюже раздвигает рамки своих поэтических интересов, совершенствует, шлифует свой язык, не оставляет без внимания ни одно из современных поэтических направлений, перерабатывая их в горне своего поэтического сознания.

Дм. Семеновский поэт с глубокой внутренней интуицией, с богатыми отточенными поэтическими образами, с мягкими полукварельными красками. Меткость и выпуклость языка, насыщенность его образами, тонкое проникновение в жизнь деревни (автор большую часть жизни провел в деревне вблизи Иваново-Вознесенска), знание всех ее бытовых особенностей и черт — все это отличает стихотворения Д. Семеновского. Религиозный налет сказывается в творчестве Д. Семеновского на первых порах, теперь постепенно он отходит, рассасывается, уступая место более широким и жизненным обобщениям.

Ник. Смирнов, Огурцов, Селявни, Сумароков, Анна Баркова — поэты более молодые, зеленые, но от них мы вправе еще ожидать больших возможностей.

Аркадий Савин.

ИЗДАНИЕ Обл. Науч. Бюро.

Отдел Красной



ПЕРВОПУТОК.

Падают снежинки
 Пухом белоталым,
 Одевая пахоту
 Белым одеялом.
 Травы—чернобылье
 Стынут над межами,
 Едут за околицей
 Сани с бубенцами.
 Ближе, ближе кони.
 Ленты—банты вьются,
 На дровнях, на развальнях
 Песни раздаются.
 Гости-ль едут в гости
 Из села в деревню,
 Сваты ли с гостинцами
 К девушке царевне?
 По снегам-ли первым
 Тропы—вехи вешат,
 Душу ли разгульную
 На просторе тешат?
 По полям примяли
 Чернобыль ковыли,
 Путь ненавороченую
 Сани проторили.

В ГОЛОДНЫЙ ГОД.

(Детские начеты).

Не одет и бос
 Барбарос-барбос,
 Поджимая хвост,
 Под окном прирос.
 Барбарос-барбос,
 Ты холодный нос
 Для чего у нас
 Под окном прирос?

Сами мы глядим—
 Кто бы нам принес,
 На воде сидим,
 Барбарос-барбос!

Барбарос-барбос
 Ты пушистый хвост
 У людей настал
 Из постов-то пост.

Нам не надо слез
 Барбарос-барбос:
 У самих у нас
 Пухнет глаз от слез.

Под окном не стой,
 Нам не надо слез,
 Уходи от нас,
 Барбарос-барбос.

ЗА ОКОЛИЦЕЙ.

Кивнул тени голубые
 Белый месяц над селом.
 Ах, какие
 Удалие
 Парни, девки
 Молодые!
 В вешнем гуле при снолохе
 Сеют песни—перелом.
 Над селом
 Перелом
 При хрустальном
 Дыме
 Дышет тайною кругом,
 Дьями молодыми.
 Голубой луны заход.
 Свет хрустальной ткани
 Манит выйти на народ
 В годы расцветаний.

* * *

Кивнул тени голубые
 Белый месяц на луга.
 В белом свете
 На примете
 Есть невеста,
 Песни эти
 Не проронит—отзовется,
 Сердцем сердцу дорога.
 На луга, на луга,
 В дымку голубую!
 Ту, что сердцу дорога
 Ныне облюбую.
 Тает тает над землей
 Дымка голубая...
 Отзовись на голос мой
 В зорний вечер мая!

* * *

Кивнул тени голубые
 Белый месяц—белый лик.
 Тают шорохи
 Земные,
 Это речи
 Прываженные,
 Это шолот, расцветанье,
 Полюбовный переклик.
 Ах велик
 Переклик
 В годы золотые!
 Знает месяц—
 Полулик
 Тайны заревые!

На хрустальные поля
Льется свет неровный,
Дышет белая земля
Тайной полюбовой.

Л Е Н.

Всем селом на загов,
На Алену, сеять лен
Выходили с наговором:
— Ты родись, родись силен
И силен и длинен
Волокнистый белый лен!

Как под певцом ответешь, —
Пожелтеешь
И поспеешь,
Урожай давай хорош!
Мы по осени придем
Дергать будем, обобьем,
Околотим семена,
— Получи, хозяин, на!
А хозяйке водовко
И зимой веретено!

Уж мы сеем — сеем лен,
Ты родись — родись силен
И силен и длинен
Волокнистый белый лен.

С В А Д Ь Б А.

На межах-то чернобыльник — молочай —
Ну-тка, милая, накачайвай — качай.
Думу девичью тревожную откинь,
Оту рюмочку наливки опрокинь...
Эта рюмочка тебя развеселит,
Ты не бойся, голова не заболит.
...Володамир, володей, володей!
Видишь радость поднялася у людей?
Все то хвалит эту девку, дорогой,
Этой девушки не смещется другой.
Ну-ка выдь из за стола да угости,
Чем невесту свою за руку трести!
Видашь парни да и девушки любя
Ждут поздравить с нареченною тебя.
...Что ты, девка, не светла, не светла,
Во Светлаю глядишь из за стола?
Нельзя думать — перемелется мука,
Ну-ка вышей, угости за муженька.

Ой, как рюмки-чаша
Гулдят за столом,
За здоровье нашей
Нареченной пьем.
Тянем-лотянем
Водочки-вина,
Да чекнемся,
Хлопнемся
Вот тебе на!

Рюмочки со звоном
Наполнились опять,
За вином зеленым
Нам любо пировать.
Топнем!
Прихлопнем!
Пустемся вляс.
Стаканчики,
Жбанчики
Выручат нас.

Песня побасенка
В избе по за стенам
Раздается звонко,
Дает веселье нам.
С песней
Интересней
Нам пир пировать,
Ясную
Прекрасную
Хозяйку величать.

Ну-те ка, вайте!
Как пить так пить до дна:
Не вернутся эти
К нам снова времена.

Святые
Золотые
Дни оставят след,
Спохвататься
Хватиться —
Их уже нет!..

Р А Д У Г А.

Радуга-дуга,
Как ты мне дорога!
На тебя гляжу
О судьбе вору.
Рада-радуга-дуга.
Золоченая!
С недюбым стать
Обречена я;
С недюбым стать
Да венцы держать,
На дому ему
Свою душу рвать.
Не любим, а с ним
Помолена я
Рада-радуга-дуга
Золоченая!
Ты ответь, открой.
Как мне быть с собой:
Утопиться мне,
Или жить в огне...
Знаю: злой собой
Нелюбимый мой
Как же жать, любить —
Научи, открой!
Я сонусь в дугу

Помолена,
Как ты радуга-дуга
Золоченая!
Рада радуга-дуга
Есть другой при мне,
Я ему дорога,
Он же дорог мне,
Да не знает он,
Не гадает он,
Что судьбой лихою
Я взята в полон.

* * *

Луговые звоны,
Песни в зорнем гуде
Душу истомленную
К радости вернули.
Девичьи запевки,
Словно звоны лилий,
Снова все забытое
Вы омолодили.
На покосы—травы
Стану—выду рано
Думу, боль с отравою
Думать перестану.

* * *

Зори, зори—зоряницы,
Ленты алого огня,
Сердце рвется белой птицей
Под рубашкой у меня.
— Выду, глянули-ли на поле,
Дали, дали—далеки.
Ах, сдержаться ли от боли
Да уйти ли от тоски?
Помолена, да не с милым,
Пропита, да не при нем—
Все то сердце охватило
Болью, полымем—огнем.
Вся душа в рассветы—зори
Тлеет теплится свечей,
На цветном холме-угоре
Жду я встречи, да не той.
Выди, выди облюбован,
Мой целованный в тиши,
Светлой радостью сомненье
В моем сердце разреши.

ПЛЕТЕНЬ.

Трясти, трясти—
Не домой нести.
Ах, будем мы
Плетень плести.
Ты, маюв звон,
Попелушный день,
В кругу, в лугу
Сплетем плетень.

Идем вдвоем
Плетень плести,
Плетень плести,
Хоровод вести.
Как нам ли стать
Плетень заплетать,
Плетень заплетать
Да прут ломать.
Ах, зореньба,
Плетень сплетем,
Плетень сплетем
С тобой вдвоем.
Всю душу я
Тебе соберу.
Ах, еслиб я
Дождаться мог!

ПЕСЕНКА.

Ты звони, гармоника.
Да играй, гармонь—
У меня, у девушки
На душе огонь.
Позвонки - бубенчики
Стынут за селом—
Сваты возвращаются
В мой отцовский дом
Из-за Волги реченьки—
Загоря села
Жениха судьбинуща
Девке занесла
Ты звони же, звонкая,
Ты звони - звони.
В дальнюю сторону я
Выду от родни.
Буду ли любимая
Да в чужом краю?
Грусть, неолимпиа
Точит грудь мою.

ВЕСНА

По ярны - траве зеленой
Смехи примерестились,—
Это девушки полянки
В поле заневестились.
Попелушный шорох звонок.
С звонами под кленами
Ходит вестница-веснянка
Тропами зелеными.
Ворожея - привороха
Шепчет, тягет, тянется.
Хочешь, нег-ли, будешь первый
Попелушный пьяница.
Губы алы, стан податлив
Тело к телу вкрадливо.
Жду тебя! идем же вместе,
Ночь не укорачивай!

Дивья ночь в седом тумане
Куревом оденется.
Ходит росными тропами
Зорька повеселница.

ЗОРЯНОЧКИ.

Красны девушки—зорянки,
Щеки алые,
От волынки да тальянки
Разудалые,
Собирались на загоно
С оповестками,
Шли при ало-зорнем звоне
Перелесками,
Шумно-гулками лесами
Шли зоряночки
По бруснике—повилике
При тальяночке..

Слышу смехи - пересмехи
В белом месяце.
В белом свете без помехи
Любо беситься.
А трава-то непрямата
Чисто—белая.
Слышит смехи, голоса-то
Очумелые.
Ой да ляло, ляло ладо
Листовойница!
В белом свете внагляда
Переменится...

Девки пляшут при тумане
И невестятся
На серебряной поляне
В белом месяце.
Ах, вы крики—поцелуи
Звонко-шалые,
Я люблю облюбую
Разудалую.
Зацелую—губы манки
У затейницы.
Ах, вы зорьки-зорянки,
Листовойница!

Пой, пока заря стораец
Да румянится,
Кто увидит, кто узнает,
Кто доганется?
Мы одни, туманом скрыты,
Заколдованы,—
Вейтесь косы перазвиты
Да целованы!

БЕЗДОРОЖЬЕ.

Иду по бездорожью,
Горят в заре остожья,
И дым вечерне-ал
Над травами опал.
Туман идет с болот,
Курится под ногами.
Душа полна с краями
Незнаемых красот.
Так тихо, тихо. Тонок
Узор цветов лесных.
Замолкнул жаворонок
И крик звенит и тонок
Вдруг прозвенел и стих.
А над травой зеленой
Ровняют пчелы звоны
При светах голубых.
Люблю идти один
В поля цветного яра,
Глядеть огни стожара,
Село... дымок... овинок...
Поляны... перелески...
И в зорь вечернем блеске
На травах отдохнуть,
Чтоб встать и снова в путь.
Душа трещет—птица.
Так любо насладиться
Вечерней тишиной..
Когда заря зажжется,
Так весело поется
Кавон любви земной..
И тихо. В тишине
Покой приятен мне!
За грустно чуткой далью,
Подернут черной шалью
Лесок, овраг, дома.
Огни моленных горниц,
Кедейный стих затворниц,
Резные терема —
Так все в расветной рани
Кругом полно мечтаний!
О, почему же мне
Так грустно в мире этом?
Влечет меня к рассветам,
Влечет—куда, не знаю,
Тропинка золотая
В родимой стороне..
О, почему же мне
Так грустно в мире этом?

*
**

Ты ликуй, Просветденный, дивись,
Новый свет бытия возноси!
Посмотри, как чиста эта высь,
Как светлы самоцветы в высь!

Миллионы лампад и огней
Видишь там, высоко, зажжены?
Это все для улады твоей,
Просветленный, природой даны.
Посмотри, и увидишь у ног
Из зеленых полотниц наряд.
Разве звезды, цветы и чертог
Не о радости нам говорят?
Есть ли высшая радость в миру,
Чем источник любви созерцать?
Хорошо на заре по утру
Песни вольному ветру слагать!
Посмотри пред собой, посмотри:
Золотые рассветы зари
Зажигают для нас алтари.
В этом мире великих чудес
Весь народ Просветленный воскрес,
Ибо все для народа — народ
Сам себе озаренье кует.
Ты, уставший в безверьи своем,
Потерявший надежду в бою,
Оглянись при огне заревом
На изжитую долю свою,
Оглянись и слюжи, и примерь,
И с былым твою жизнь прировнай.
Вблизи дещь дерзновения — верь,
Жизнь земная изменится в рай.
Наше рабство тянулось века,
Слез наплаканных пал океан,
Горькой горечи пала река,
Боль сильна из неизжитых ран.
Наше рабство тянулось века,
Да ушли мы от рабских пещей
Наша боль горевая близка
От начертанных нами идей.

* * *

Голубые огни за рекой
И полет разноцветных ракет...
Ах, веселый там праздник какой.
Так призывает раскиданный свет!

Да не мне там гулять на лугу,
Сеять по лугу радостный звон.
Я стою на другом берегу
И рекою от них отделен.

Мне на долю здесь праздник не дан,
Слышу издали песни, слова...
Я обрывками музыка плыви
Отделенный от их пиршества.

А же радость на сердце моем,
Тот же вижу мерцующий свет.
Одинок, на краю на другом
Я люблюсь огнями ракет.

ОСЕННЯЯ ПОЗОЛОТА.

Ходят листовейница
В шопоте растений,
В красный плат оденется
Скоро лес осенний,
Ветром зачачается
Ветка золотая —
Ах, куда девается
Звон весенний мая?.

Листовал, листовал,
Шум зеленых сосен,
Вольный дух затосковал
О потере весен.
Листовал, листовал
Золотых растений,
Ты душе тюрьму сковал
В час тоски осенней.

Нет, душа не ожидала
Золотого листовала,
Ожидала светлых дней,
Встречи с радостью моей.
Да промчались наши весны,
Отошли былые сны,
Тихо шум роняют сосны,
Замирая до весны.

Ходят листовейница
В шопоте растений,
В красный плат оденется
Скоро лес осенний,
На душе бугряные
Дни печальной были.
Капельки стеклянные
На листьях застыли.

Красный ветер — листовал
Голубая темка.
О тебе затосковал
Свет мой — неведомка.
В золотую подутью
Ах, куда деваться?
В белом свете одному
Грустно оставаться!.

* * *

Я один убегу, убегу!
Отдохну я на том берегу.
Это милая песню поет,
Это милая на луг зовет,
Там покой беспокойный найду.
Отворяйтесь, двери — врата!
Расстлайся, зеленый ковер!
Что же, славная, ты... ты не та,
Чем душа у тебя запята
И не радостен взор?
Нам не долго скрываться и ждать
От людей на поля убежать!.

ЛИСТЬЯ ОПАВШИЕ.

Срывая желтые осенние наряды,
Осиновый пустырь с своих горящих гряд
Позолотил огнем всю площадь у ограды,
Зажег в траве свой золотой наряд.
И вновь я вижу за резной оградой
В осиннике трепещущем жилия фасад,
И сердце снова этой встрече радо,
И я несказанно былому счастью рад.
И я иду. Шуршат листья осины,
Кидает солнце прорезь из лучей
И на сердце встают прошедшего картины,
Былые дни встревоженных ночей.

За оградой золотой
В позолоте ранней
Разлился над землею
Жизни увяданье;
За оградой золотой
Тропочка витая
Подвела к былому счастью
Золотого мая.
Только дом мой опустел
И цветы завяли,
Шепчут листья золотые
Тихие печали.

Листья опавшие...
Многие сердцу они говорят,
Заново в сердце надежды горят,
Как этот поздний осенний наряд
Я не забуду. Забыть ли те дни?
Шепчутся листья, горят как огни...
Возле тропинки в серебряном рву
Я годубых незабудок нарву,
Да, я нарву и в печальном дому
Их положу, не сказав никому,
Пусть неожиданно в будущий год
Эти цветы она в доме найдет
И догадается—кто их принес.
Листья опавшие... золотого рос.

За оградой золотой
Листья золотые
Упадают, одевают
Тропочки витые.
Не ходить уж мне по ним,
Солнцем озаренным,
И не петь былые песни
В шелесте зеленом.
Наши тропы разошлись
И цветы завяли,
Пали листья золотые —
Тихие печали.

Мих. Артамонов.



И В. Ж И Ж И Н.



С О Н Д Е Д А.

Отряхая пыль седую с древних ног,
Дед, опершись на кадиновый пагод,
Сел и смотрит сквозь огромные очки,
Как на тропке, суетясь, снуют жучки;
Борода у деда—сена сивый пук
И блуждает в ней серебряный паук,
От очков играет зайчик на песке,
А другой горит светлячкой на руке.
Вот сухарь из сумки вынул и жует.
В мураве кузнечик весело кует.
Селisce плавает в лазоревом ковше.
А у деда светлый праздник на душе.
— Ах, ты воля моя, воля—благодать!
Отжил век, а не охота помирать.
Каждый кустик—как красивая сестра
И обедами ликует молшара!
Пожевал маленько рощице поклон.
Клонит деда день весенний в сладкий сон.
Очи слиплись. Ниже, ниже голова.
И... = оет—звенит над дедом синева.

Зори алые платом стелитесь
На ирелестные цвето—равнины
Приласкай меня Солнечный Витязь,—
Нежно льнет к деду фея долины.
—Я богата огнями, как росы,
Затаившие вечности пламя;
Как заря, мои красивые косы
Распелаясь и взметнулись над днями.
Я в столетях страданье—слезы
Собирала в незримые урны,
Чтоб из горя народного грозы
В море вспыхнули гневно и бурно.
Час настал. Правды скрытая сила,
Точно тверди пытливые очи,
Облаков огневые ветрила
Пронесла над иучиною ночи.
Духом ожили раб и калека,
Раб и пахарь пророками стали
И в могучих руках человека
Засияли иные скрижалы.
Приласкай меня, Солнечный Витязь!
Аль, мои поцелуй не жгучи?
Невечерним огнем засветились
Вдруг над дедом лазурные кручи.

Русь, как воды в часы ледохода,
Мчала глыбами льда города.
В хворой дрожи огней небосвода
Невечная родилась звезда.

Проводов бестолковые стай
Мрак сверлили, пня тишину;
Толпы, площади, здания, трамваи —
Вал—на вал и волна—на волну.

Пробуравив железные тучи,
К льдам звезда сорвалась с вышины
И расталила землю в кипучий
Слав труда и бескрайней весны,

Радость, оторопь, страхи, восторги —
Все смешалось — валы на валы.
А с дворцов, превратившихся в морги,
В шторм зловеще косились орлы.

СТИХИ О РАБОТЕ.

Песен! Песен и счастья! Кто молод и смел,
Предан сердцем великой идее,
Выпускайте из груди звон песенных стрел,
Чтоб работа кипела бодрее.

Посмотрите, как нов и чудесен простор
От земли до крутых поднебесий!
Тюрьмы душ, ямы пыльных контор
Распахните в весенние веси.

Кто без песен живет, тот несчастен и сир —
Он замкнулся в себе, как улитка.
Человек это — сила, пролитая в мир,
Из лазурного звездного сита.

Одинокий — янтарное жалце угля.
Вместе все — неба ясного соты.
Лишь тупым и ленивым — пустая земля.
Вместо песен — тоска позевоты.

"СУББОТНИКИ".

Ходит бодро по улицам вешним Работа.
Рдян загар на лице, а уста — земляника.
Собирает росу благовоного пота
И ядреные песни в кошелку из лыка.

—Гей, ударьте сильнее, товариши, в темя
Невзвистную злую колдунью — разруху,
Чтоб под молотом новое, вечное семя
Проросло в глубь земную, подобную пуху.

Не туманьте льва паутиною горя.
Раньше срока сказать не спешите: устали!
И стихи за вас — солнце, ветры и зори,
Лашь идите смелей в не вечерние дали.

1. НАБОРЩИКИ.

В свинцовой липкой черни лик Работы —
Безмолвен, замкнут. Пыль глаза слепит.
Реалов — ульев ржавленные соты
День стрелоглазый зноем золотит.

Над сотами, склонив дремуче лица,
Стоят жрецы — обряд чей прост и тих,
Но каждого рука, как шмель к цветку, стремится
Возжечь огонь Прометеев для слепых.

В ушах звенит усталость, точно провод.
Им кажется, что в кассах не значки,
А рои пчел, там — бабочки, там — овод,
Шмели, светлянки, осы и жучки.

Проворно лепят пальцы рук газету,
Ловя в верстатку пчел, светлянок, ос,
Чтоб разнесли они по белу — свету
И яд, и мед, и смех, и горечь слез:

Ожог осы и яд смертельный кобры —
Непримиримо злым в тупой вражде,
Цветы и мед для тех, чьи души добры,
В страданных стойки, радостны в нужде.

Изо дня в день безмолвно, в синих блузах,
Жрецы свершают мудрый свой обряд,
Чтоб те, кто изнемог в яремных узах,
Узрели светозарный Вертоград.

2. КОРРЕКТОРА.

Звенят, галдят, жужжат, свистят и скачут
Из строчки в строчку буквы и слова.
Карандаши корректорские плещут.
Кружится от досады голова.

Мудрен "гигероглиф" в оригинале,
Пред взором синий вспыхивает круг.
Глаза читать без усталости устами
И онемели пальцы бледных рук.

А за окном весна. На пухе гранок
Ткет паутину легкую денек.
Корни, чтоб завтра бросить с позаранок
В пасть улицы причесанный листок.

3. ПЕЧАТНИКИ.

И вспыхнул свет. И вздрогнули приводы.
Напружив мускулы, забилась пульс машин.
Глотает денты жадно исподни.
Грохочет таллер в горле точно воды.

Есть в монотонном грохоте машин
Гармония, которой мыслят воды.
Все об одном и том поют приводы,
Чем дышет и машина — исподни.

загадочны, как небо, в бурю воды.
Загадочен и темен дух машин.
Но как-бы понимает исподлин—
Что с шестерен поют-гудят приводы.
Вон выдыхает ленты исполнил
Их ловят пальцы. Мчат-гудят приводы...
Но над волнами властны в бурю воды,
А маг печатник—над душой машин.

К ударному дню фабрик.

1. НАКАНУНЕ.

То ветер, то мороз, а то пурга.
Темно и холодно под сводами глухими.
Застыла сила в мышцах рычага.
Грустит цилиндр о паре, печь о дыме.
В маховике к приводу злость врага.
Ночь смотрит в окна взглядами тупыми.
Луна-колдунья крутит на рога
Волосья туч куделями седыми.
Но, чу!—шаги и кашель. Скрип дверей
В потемках тонет эхами, как в глине.
И вздрогнула суставы всех частей,
Когда пришлец приблизился к машине.
—Мой верный друг, пора, пора, проснись!
Рассей со сном железный свой каприз.

2. В УДАРНЫЙ ДЕНЬ.

Суровых воль могучий пульс—в станции!
Мы сокрушим машин каприз железный!
Бурля стальной кровью, челноки
Победу вытвуют Прахе Красновозвездной

Манчестер Красный бросил бодрый зов.
Гордитесь трубы дымным воскресеньем!
И гарь, и гам, и гром, и гуд гудков.
Глохает небо с радостным волненьем.
Долой дремучее невежество и лень!
Привет и слава массе многоликой!
Да здравствует поворожденный день!
Да здравствует почин ткачей великий!

КАПИТАЛ ИДЕТ.

(В день вступления в войну с Польшей).

Вновь над деревней нависла
Лихотень орла золотого.
Апокалипсиса числа
Человека пугают снова.

Всередине, влево и вправо
Крылатые коршуны кружат.
Лондон, Париж и Варшава
Сталь для штапов упружат.

Палач в золотых браслетах
Шагает в Москву за данью
И пламя дум нераспетых
Заковать в кандалы молчанья.

Глаза надменные сузив,
Он хочет с свирепостью бычьей
Кровью намоченный узел
Затянуть на шею мужичьей.

Но смело вперед без страха
Детей своих к вражьему стану
Шлет Красновозвездная праха,
Чтоб башку отрубить тирану.

Ив. Жижин.

Дм. Семеновский.



ЯРОСЛАВЛЬ.

(23, VII, 1918).

Скажи: „Ярославль“—и в душе загудит
Торжественный благовест медный
И чувству приминится, что в сердце глядят
Липо старины заповедной.
И ныне—твердыня седой старины—
Он красной разрушен грозой!
Располтана слава родной стороны
И смочена кровью росою.
Гроза пронеслась, на куски расколов
Столетние мшистые плиты,
Чеканные шлемы золотых куполов
Тяжелым снарядом разбиты.

О, звездные главы, врата, купола,
От молнии злойного взрыва
Вы—прах и обломки. Сгорели до праха
Художества древнего дива.

Но враг, что народу ярмом угрожал
И узы вязал Ярославлю,
Как зверь от погоны, в смятенья бежал,
Почувяши красную травлю.

Стоит Ярославль над родной ширью,
Глядит в голубые туманы,
А Волга холодною лижет волной
Пустынного берега раны.

ВЕРТОГРАД.

Прекрасны степи, звезды, воды,
Покровы нив, престолы гор.
Да не мрачат лица природы
Ни грусть, ни злоба, ни раздор.
Вражды и гнева власть отринув,
У нив, у пажитей, у рек,
Где ветер пьян дыханьем кринов,
Блажен да будет человек.
Зане светла душа природы,
Земля, как рая вертоград
И немю затаили воды
Словозвонный сокровенный град.

БОГАТЫРЬ.

Поле. Ели вереницей.
Комья вспаханной земли.
Солнце алое Жар-Птицей
Село-дремлет на ели.
Кто там камни, пеня крушит,
Пишет борозды сохой,
Дикие равнины руют
Стороны моей глухой?
Черны срезанные пласты,
Тихи шорохи сохи.
Солнце село в ельник частый
На сухие мхи.
Поразвесило над бором
Золоченый пышный хвост.
Все-то полем, все простором
Ходят ратай вдоль борозд.
На руках его мозоли,
А кобылка не мудра,
Да проходит в чистом поле
До заката от утра.
Всходят звезды. Ходят ратай.
Пахнет мятой с пустыря.
Хмур и грозен бор зубчатый,
Меркнет свет-заря.

ВЕСНА В ОКТЯБРЕ.

Сквозь мглу и сумрак Октября
В конце семнадцатого года
Для угнетенного народа—
Плененного богатыря—
Явилась новая свобода,
Зажглась багряная заря.
С запламеневшего Востока
Для мира вспыхнул новый свет,
И ночь прошла, и ночи нет,
Что угнетала мир жестоко,
И отыскался к счастью след,
И солище шлет земле привет.

Сквозь млистый сумрак Октября
В конце семнадцатого года,
Когда гуляла пеногада,—
Пришла весна, цветы дари
Для тех, в чьем доме гость—незгода.

О, этот год! О эти дни
Великих бурь и потрясений!
Рожденные во мгле осенней,
Они весенним дням сродни.
Как буйный вихрь грозы весенней.
Нам будут памятны они.

Сквозь мглу и ветер Октября
Багряный светоч нам засвечен.
Тот, светоч нам, как солнце, вечен,
Жара октябрьская заря.
Октябрь, ты навсегда отмечен
Средь месяцев календаря.

* * *

Слушай земля,
Слушайте, рабочие всего света,
Когда распались твердыни Кремля,
Когда сотрясались от залпов зданья
И веяло знамя восстанья,—
Это
Рушились звенья ваших оков,
Уничтожились страданья
Многих веков.

Слушай, земля,
Когда распались твердыни Кремля,
Когда истреблялись искусства
древнего дива,
Когда на орудийный гром откликались
лугливо

Леса и поля
И веяло пламя, как желтая грива,
Сжигая, паля,
Пепела,—
Это творилась тебе золотая эпоса,
Новый ковался век,
Где не услышишь ты горького стопа
и вздоха,
Где будет блажен человек!

* * *

Слава погибшим борцам,
Взятым могильным докоем,
Слава народным героям,
Слава бесстрашным сердцам—
Радостной жизни творцам!
Память о них не умрет...
Благодарение Богу,—
Освобожденный народ
К милым могилам дорогу
Не позабудет—найдет!

Вечная память борцам,
Павшим за правое дело!
Слава сражавшимся смело!
Слава горячим сердцам—
Радостной жизни творцам!

* *
*

С красного Востока
В тучах Октября
Западу явилась
Алая заря.

* С Красного Востока
Брошен в мир набат:
—Встань, бедняк-рабочий!
—Встань, печальный брат!

С Красного Востока,
Грозен, ал и яр,
Взвихрился на Запад
Буйственный пожар.

Красному Востоку
Суждено принести
На далекий Запад
Золотую весть,

Что у кассита
Сила отнята,
Что владыкой мира.
Стала белота.

* *
*

Рабочие, синие блузы,
Ладони в наростах мозолей,—
Лякуйте: расторгнуты узы,
Повеяло вольною волей.

Мы преданы светлой надежде,
Мы верим в пришествие Братства,
Но слоим, товарищи, прежде
Стоглавую гидру Богатства!

Уж много у гидры стоголавой
Мы страшных голов отрубили.
Мы бились с честью и славой,
Мы дружны и доблестны были.
Теперь же, рабочие блузы,
Для битвы последней сомкнитесь,
Сплотитесь в отряды, в союзы
И будьте, как сказочный витязь.

Рабочие, соединитесь,—
П, жаждой борьбы пламенея,
Как некогда сказочный витязь,
Погубим стоголавого змея!

* *
*

Мы вышли сегодня на красную площадь
И красные песни поем.
Над нами багряное знамя полощет
И светит пунцовым огнем.
Все улицы, как расстреленный улей...
Смущенно теряется взор:
Толпа в Октябре, как поляна в июле,
Где ярк цветочный узор.

Вот кто-то бросает мятежно и страстно
Слова горячее зарниц—
И тысячи рук рукоплещут согласно,
Как крылья испуганных птиц.

* *
*

Знамя алое цветет
Над кипучею толпой
И зовет ее вперед
На великий грозный бой.
Это знамя создал ткач
И работница—швея.
Цвет его, как кровь, горяч
И искусна вязь шитья.

Ловки пальцы у швеи,
Очи—звезды в синей мгле.
Пальцы следные свои
Отдала она игле.

Низко гула тонкий стан,
Вышивая вязь свою:
—„Пролетарии всех стран,
Слейтесь в братскую семью“!

И когда ее игла,
Засверкав по кумачу,
В алом поле разогля
Литер жаркую парчу,—

Знамя подняли мы, чтоб
Каждый труженник прочел,
Что народ похож на сноп
И на рой согласных пчел.

Знамя красное горит,
Пышет пламенным платком
И с народом говорит
Огнецветным языком.

* *
*

Сегодня—празднество рабочих,
Сегодня—празднество крестьян,
Сегодня—праздник их и прочих,
Кто перешел в народный стан.

И если спящий мир пробудит
От нас идущая заря,—
По всей земле сирываться будет
Священный праздник Октября.

Сегодня—праздник всех восставших,
Иной поверивших красе,

Сегодня—праздник всех сознавших,
Что мы равны под солнцем все,
Что мир похож на улей шумный,
В котором люди—дружный рой,
Где каждый должен быть разумной
Трудолюбивою пчелой!

Сегодня—праздник всех рабочих,
Сегодня—праздник всех крестьян,
Всех, кто работает, и прочих,
Вступивших в пролетарский стан.

* * *
Сквозь мглу и сумрак Октября;
В конце семнадцатого года
Для угнетенного народа
Взошла великая заря,
Пришла весна, цветы дая,
Для тех, чей друг была невзгода.

Благословен ее приход,
Ее неожиданное явление!
О, эти дни! О, этот год,
Принесший миру обновление,—
Среди годов он, как звезда,
Для нас останется всегда!

Д. М. Семёновский.

Серг. Селянин.

* * *
Еще висит туман кроваво-сизый,
В безликий хаос слиты свет и тень,—
Земля гудит зловещим гулом снизу
И брызжет в мрак огнистой лавой День.
Кипит бушующее море,
Избороздили волны океан
И, со стихией как-то жалко споря,
От близкой смерти сжался вражий стан.
И скоро, скоро Шар в пути вокруг Солнца
В бездонность бездны сбросит в краткий миг
И сталь штыков, и душный плен червонца,
Наперекор ученью мудрых книг.

СТАРИК

Весной повеяло... Растаяла дорога,
Чернеет снег, прильнув к земле пластом.
В шубенке рваной, в шапке у порога
Сидит старик, печалась о былом.
Согнули годы старческую спину,
А в волоса вкрапили седину...
О, кто-б узнал в нем прежнего детину,
Каким он был в двадцатую весну?
Взрастить ему пришлось не мало деток,
Да все убиты в прошлую войну.
Жива лишь дочь да с нею малолеток,
А муж скончался в Австрии, в плену.
И вот один...—жена давно в могиле,—
Сидит и смотрит мутным взором вдаль.
Вон тот овин, за ним хлеба родились.
— Эх, сыновей да сиды прежней жаль!

С тех пор, как всех в солдаты их забрали
Как будто стигнул он, не стало силы вдруг.
Когда же весть: „убиты и пропали“—
Пришла,—соха не слушалась рук...
Не запахнуть теперь, как прежде, нивы:
Савраску свел по-снегу на базар.
Не слушать жаворонка трели-переливы
И не вдыхать полей весенний пар.
Дрожат от старости и горя руки, плечи,
Глаза слабеют, ноги не стоят.
— Пора в могилу знать... уж больше де-
лать неча...—

Его уста беззвучно говорят.
Встает, кряхтит и капляет, и гнетоя,
Уходит тихо в избу на покой,
На лавку сядет, грустно улыбнется
И гладит кошку высохшей рукой.

* * *
Хотел бы встать у придорожной елки,
Покрытой синим инеем, в сугроб,—
Смотреть, как белодунной ночью волки
Бегут туда, где слышен конский топ.
И в яркой злобе ряд зубов оскала,
Луча в зрачках наливающегося кровь,
Смакуют жертв. Но, слыша лягги стали,
С протяжным воем отбегают вновь.
И долго воят белой-белой ночью
И вой плявлет и тает на ветру,
А там у елки придорожной ключья
И алый снег с следами по утру...

Серг. Селянин.



Серг. Семин.

* * *

Посмотрите ликующим взором
 Как прекрасна под вами земля,
 Как весна разноцветным узором
 Украшает родные поля,
 Как курятся душистые травы,
 Загораясь слезами росы,
 Как в тени благовонной дубравы
 Расцветают живые красоты.
 Сладкий шопот листьев изумрудных
 Поцелуй горячих лучей
 И сиянье божественно чудных
 Благодатных весенних ночей,
 Вольных птичек стозвучные трели
 Над простором жгущих нив,
 Томный голос знакомой свирели,
 Чудный песен родных перелив, —
 Эти прелести божьего мира
 На отраду душе созданы,
 Отчего же душа наша сира,
 Если чувства благие даны?
 В день погожей весной нарядной,
 В божий праздник, покинувши плуг,
 Выходите из хижины смрадной
 Отдыхать на муравчатый луг!
 Все, чью грудь иссушила забота,
 Кому окресу нужда не дает,
 Кто истек от кровавого пота,
 Кто до сыта не ест и не пьет,

Все, кто плачет о милой свободе,
 Чья душа от страданий болит, —
 Приходите молиться природе:
 Вас святыня ее исцелит.
 Храм ее лучезарней и чище
 Всех божниц золотого тельца,
 В нем обильней духовная пища,
 В нем мы ближе к престолу Творца.
 У земли и у синего неба
 Много милости, много щедрот, —
 Всяких благ и насыщенного хлеба
 Вдоволь людям природа дает.
 В светлом храме природы-царицы
 На восходе румяной зари
 Служат заветною певчие птицы,
 Ей святые поют тропари.
 Утешителем, сладок их голос,
 Их кадило — ночная роса.
 С умилением их слушает колос,
 Им внимают вверху небеса.
 В храм пресветлый земных украшений
 Пусть и малый придет и большой,
 В нем забудете горечь лишений,
 Умиаясь, отдохнете душой.
 В нем от пыла борьбы освежитесь,
 Внидет радость в больные сердца,
 В правду верой святой укрепитесь
 Под покровом природы Творца.

Серг. Семин.

А. Сумароков.



ПРИЗЫВ.

* * *

Пора, пора звонить в набаты!
 Мы медлим зря и долго ждем,
 Когда дано нам в темень хаты
 Пролиться огненным дождем;
 Когда, вонзив свой труд упорный
 И взрезав мертвые тела,
 Дано нам в каждый угол черный
 Хлестнуть расплавами стекла.
 Как жизни дух, живой и чоткий,
 Взорвавший рвы и сталь скалы,
 Собьем скользящие колодки
 И косвой мысли кандалы!
 И если бьет нас тяжкий камень
 И вихрей бешенных игра,
 Друзья, сольемся в общий пламень
 В дыму вселенского костра!

Пришла пора пной святыни,
 Много знания и труда.
 Единый взмах и взлет отныне
 Мы зачаруем на всегда.
 В пределах творческого дела
 В всемирной мысли водою,
 Как новый дух в живое тело,
 Металл расплавленный вольем.
 Пускай мы ведаем мгновеньем,
 Но будем тверды до конца.
 Идите все, чтоб дерзновеньем
 Ударить в тяжкие сердца!

КУЗНЕЦ.

Кузнец пылающий у горна
Ковал кровавые щипцы,
И рвали огненные зерна
Стены оскаленной зубцы.
Но пали грозные твердыни,
Как сонмы призрачных теней,
И сказ иной несется ныне
Среди сказаний темных дней.

Где жог топор и пела плаха
И жутко прошлое текло
Кровавит красная рубаха
Лицо, смотрящее светло.
И тот, кто был уныл и робок,
Кто слушал прошлому хвалы,
С своей тюрьмой разбитой б-бок,
Смеясь, сбивает кандалы!

А. Сумароков.

С. Огурцов.

ЦВЕТОЧНИЦА.

Я весны цветотканной посланница,
Я иду из узорных полей,
Где цветов зарева багряница,
Словно блеск аналойных свечей.

Рано выйду я на поле, на дуг,
В белый сумрак, в сырую росу,
Соберу я букет из фиалок.
И в нерадостный город снесу.

Я продам их на звонкой панели
У фабричных, железных ворот—
Тем, чьи взоры в поля не смотрели,
Кто в цветах утешенье найдет...

Я весны цветозвонной посланница.
Из полей я духмянных иду,
Где цветов зарева багряница
Опьянела в весеннем чаду...

С. Огурцов.

А Луганский.

ГОРОД.

Догорали труб фабричных многодымные
кадила,
На громады городские голубая пала тень...
Ты лукаво улыбулась, помолчала и спросила—
Почему же шумный город мне малее деревень!
Ты ведь знала, как любил я тишину
моих мечтаний,
Голубые перелезск, позабытые тропы...
Но души моей коснулся свет бессмертных
уюваний,
На алтарь иного бога я несусь мои цветы!
Невозвратно и на веки полюбил я город
шумный
В дни великих озарений золотого Октября,
В ночи битв, когда от залов содрогался
облик лунный,
Когда в жизнь рождалась снова обновленная
земля.
О, могучий город душный, многогласный,
многоликий!
Ты во мраке темной ночи—взмах орляного
крыла;
Ты—кузнец у вечных горнов неустанный
и великий,
Ты—дружиня необразимых напряженная
стрела!

Я люблю твой смелый облик и массивы
гордых зданий,
Свет витрин твоих, залитых электрическим
огнем;
В них застыл на веки отблеск алый
зарева восставший
И еще не отзвучало: „победим или умрем!“
В шуме мчащегося авто, в звоне рельсов
бледной стали
Слышу я шаги грядущих ослепительных
веков,
За лесами труб фабричных—блещут
солнечные дали,
За годами испытаний—мир лазурных берегов.
Пусть же стелются деревни по долинам
зеленея,
Спят жемчужные кувшинки в тихих
зарослях вруда.
Я с тобой на веки скован мощной цепью
Прометей,
О, могучий шумный город—храм Свободы
и Труда.

А. Луганский.

Анна Баркова.

ЖЕНЩИНА.

II

Мои волосы слишком коротки,
Не расплетать их малой руке.
От ручьев прозрачных и робких
Я спешу к вселенской реке.

Не на лоне любви нежно-ревнивой
Я предаюсь голубиному сну,
На земной расцветающей ниве
Я к груди человечества лгну.

Человечество—это мой возлюбленный,
Сужденный ныне мне на века.
Тобой не буду я приголублена
Одного из отдельных рука!

Все мои речи суровы и резки.
Мне чужда прелестная немота.
Со мной идет вместо грации детской
Величавая твердая красота.

Смотрят звезды на меня по иному,
Чем на прежних женщин смотрели,
С неба к сердцу тянутся струны
И поют о космической цели.

И входит мое сердце планетой
В систему любви вселенской.
Одеденным мирам расцветы
Приношу я нежностью женской.

Меня прокляло злое жречество,
Но зачатый круг прорвался.
Огдаю я любовь человечеству
Свободной Земли и Марса!

Анна Баркова.

А. Н о з д р и н.

ПОВЕСТУШКА-ПЕСЕНКА.

У меня есть кресенка,
Девушка бедовая,
Про нее есть песенка
Повестушка новая:
Девушку помолвили
За соседа справного,
Девке ваготовили
Всякого приданого,
А она артачится,
Жениха чурается,
От сиденок прячется,
С свахами ругается,
Что проходит времячко
Старой деревенщины,
Входит правды семячко,
Коммунистки-женщины,
Пали все неволюши,
Пали диходейные...
— Не сносить головушки
Ей! Твердят семейные.
Думают молебнами
Отчитать законницу,
Травами целебными
Полечить бездомницу,
А у ней—все хаханьки,
Смехом-захлебнула-я.
Порешили сваханьки:—
Девка то рехнулась!..

ПРЕДЧУВСТВИЕ.

В таинственном, неуловимом токе,
Что вновь меня бросает к злобам дня,
Есть что то от пророчества, какие-то
намек

На близость новых дней работы и огня...

Поднимется громада, наш тяжелый молот,
Кующий счастье мне, тебе, ему,
Заговорит, пылая горном, город,
Бросая искры в жизненную тьму...

На зарево, пожараще дневное
Придут из шахт, от плауга от руля,—
Ухватятся за счастье земное,
Поверят в то, что счастье даст земля!

НА УЛИЦЕ.

Средь городских костюмов модного покроя
Сермяжное рунье должны мы отмечать:
В нем жены, матери народного героя,
Мужей и сыновей приходят навещать.
Они проходят здесь с печальными очами,
Согбенные под ситцевым мешком...
Дорогу—женщине с котомкой за плечами!..
Дорогу—истине, что шестует пешком!..

А. Ноздрин.

С вдохновенным приветом мятежной заре
 На устах, обожженных небесным огнем...
 Ангел смерти крылом
 Над толпою взмахнет, —
 И горящих зрачках сотен глаз
 Тенный сумрак холодною зыбью мелькнет.
 Так мгновенная тень гасит яркий алмаз.
 На мгновение толпа от испуга замрет,
 А потом
 Тканью красною знамени тело мое, —
 И мое и ее:
 Я горел для нее, —
 Благодарно она обовьет;
 И наполнит печальною музыкой зал
 Стоголосьм могучий хорал —
 Вскинут стройные волны живых голосов
 Марш, с которым мы в вечность борцов
 Провожаем, любя, на раменах своих
 Скорбным шагом последней труппы;
 И никто во всю жизнь не забудет из них —
 Этих атомов красной толпы,
 Сказки, сотканной мной
 Из борьбы огневой
 В мой последний, в мой пламенный миг...

В темень с дымами взлетают.
 Очертания злобных лиц
 В черных клубных дымах тают.
 Буря ж воет все сильнее:
 „Погибай, гнилое зданье!
 Путь в огне стогорит скорей
 О тебе вспоминавшие!
 Пусть разсыплется золой
 Обгоревший остов твой!“
 С треском грузных балок вязь,
 Хитро сцепленных пирами,
 С гнезд своих оборвалась,
 Увлеченная кровлю в пламя.
 Взырло взвился дым столбом.
 Заметались в кортах тени,
 Зло дрожавшие кругом;
 Стынут в ужасе немом
 Припадая на колени:
 „Нет спасенья... Гибнет дом —
 Крепость прошлых поколений“...

П О Ж А Р.

Грозной молнии стрела
 В полночь старый дом зажгла.

* * *

Дымы вихряются клубами.
 Пламя мечется, ревет,
 Углет бревна языками
 И кровавыми зубами
 Кровлю душную грызет.
 А из туч грохочет гром:
 „Темень рабского былого
 Создала этот дом.
 Ложь — была его основа,
 Подлость етены возвела
 И покрыла кровлей зла“...
 Рдеют яроотным огнем
 Окна — тесные, глухия.
 Искры звонкая кругом
 Мечет красная стихия.
 Стаи буйных жгучих птиц

Дышат радости хмельной
 Громошвные раскаты
 Гаммой эх в душе моей;
 Вродит заревом по ней
 Отблеск пламени крылатый.
 И сливаю я с грозой
 Голос песни огневой:
 „Пой мятежней, буря, пой!..
 Долго ткали дни печали
 Страшный саванный покой.
 Долго, долго мы молчали,
 Но в печали не увяли
 Грезы, полныя тобой..
 Пой мятежней, буря, пой!..
 Разверни живые крылья
 В вихря буря мировой!
 Смысь на крепости насилья
 Стрелы молний! Зажигай
 Всюду буйные пожары!
 Слей их зарева в стожары!
 Негодуй! Гуди! Сверкай!
 Да погибнет злобный старый
 Мир от наших красных стай!“

Вас. Смирнов.

В а с. С м и р н о в.

АГИТАТОР.

Я толпой взнесен над толпой.
Подо мной
Колыхается море голов.
Я люблю этот буйный прибой
Возбужденных борьбой голосов,
Я люблю эти вспышки бунтующих глаз,
Вдруг увидевших радостный сон на яву;
Я люблю этот хмель пробудившихся масс...
Сми толпы,—я с толпой живу..

Я стою и горю,
Говорю
Огневые слова,
Огневые слова говорю
И горю.
Словно искры от факела в ветреной тьме,
Они весело выются кругом,
Зажигая в уме
Этой пестрой толпы вдохновенным огнем
Вспышки волей овеянных грез...
Вот—крестьянин седой
С инструментом в дорожной суме;
Вот—солдат; вот матрос;
Вот рабочий с кошной непокорных волос
На широких сутулых плечах;
Вот, к стене прислонясь, замер, словно прирос,
Кто-то бледный,—должно быть, учитель,—
в очках...

Все мы в сказке прекрасной живем,
Мыслим мыслью одной,
Дышем чувством одним—
Молодым, молодым..
Хорошо быть в толпе над толпой!..

* * *

Я горю—говорю,
Говорю и горю.
Наше знамя горит надо мной,
Наше знамя, готовое ринуться в бой.
Я горю—говорю.
Из безликой толпы я творю
Силу, пламенной волей своей
В прах дробящую троны царей
И престолы недавних богов.
Нет оков,
Нет святынь,
Что она не могла-б разорвать;
Нет твердынь,
Что она не могла-б разметать.
Горе тем, кто теперь на пути
Попытается встать

Ей преградной стеной,
Помешает идти
К цели, твердо намеченной мной
Мой посев огневой
Колосится в умах,
Золотится в сердцах
Огневою грозой...
Хорошо быть в толпе над толпой!..

* * *

Я горю—говорю,
Говорю и горю
Я горю, все сильнее и сильнее.
Я огнем моих слов
Всех друг с другом связал.
Зад блестят,
Зад слепит,
От огня.
Сколько в зале голов,
Столько пламенных в нем языков.
Колыхаясь, над ними дрожат.
То не Дух ли святой
Над толпой?!
Не его-ль опалаящий шум
Мечет крики из дум,
Мечет крики из глаз?!
Вот сейчас
Заревет ураган,
Заревет,
Понесет
Вперед на бушующих гребнях огня
Мои мысли—меня.
Я победу пьян.
Захмелела от грез голова.
Самого меня жгут огневые слова
До восторженных сладостных ран..

* * *

Я горю—говорю,
Говорю и горю,
Как костер на высокой горе,
Раздуваемый бурной грозой.
Может быть, я сгорю над толпой:
В это сердце так крепко страданья вросли;
Это сердце врача обреченн...
Ну так что ж?!
Хорошо умереть на горе,
На высокой горе, под мятежными прибой
Гордых мыслей, бросающих в сладкую дрожь
Хорошо умереть на горе

Писатели нашего края

А. Н. Островский.

Едва ли многие знают, что знаменитый драматург Александр Николаевич Островский, пьесы которого не сходят со сцены театров, родился в нашем краю.

Родина А. Н.—село Щельково Кинешемского у. а р. Сеняге. Родился он в 1823 г. и умер в 1886 г. в Кинешемском у., похоронен в с. Бережках в 2 вер. от Щелькова.

Предки его—люди духовного звания. Детство провел он в Заосковречи. Первое произведение „Несостоятельный должник“ было напечатано в „Московском Городском Листке“ в 1847 г. Служил одно время Островский в Коммерческом суде.

А. Н. не раз бывал и в Иваново-Вознесенске (тогда еще село Иваново). Зарисовки купеческих типов настолько родственны местному купечеству, что некоторые утверждают и до сих пор, что много чертчек и фактов бывших местных купцов—самодуров послужило канвой для его произведений.

В. А. Рязанцев.

В наши дни мы являемся свидетелями большого под'ема творческих сил народа, который, между прочим, выражается и в появлении из него многочисленных талантливых поэтов и писателей. Последнее явление не было однако редким и прежде, когда, начиная с половины 18-го столетия, несмотря на крайне тяжелое и безправное положение народа, из глубины его, из „низов“, всегда выбивались писатели, известные нередко под именем так называемых „самородков“ и „самоучек“. Правда, не все они обладали крупным дарованием, немногие из них получили широко известность и место в истории литературы. Все

же, несмотря на это, все они представляют громадный интерес и значение. По ним можно проследить пробуждение народа, его порыв к творческой деятельности и к проявлению своей мысли в опытах писательства. Но, к великому сожалению, о всех писателях, вышедших из народной среды, существуют крайне скудные сведения. Благодаря этому, очень многие из них неизвестны и о существовании их знают разве только записные библиографы. К числу таких писателей принадлежит наш Ивановец В. А. Рязанцев.

Василий Алексеевич Рязанцев родился в 1829 г. Отец его был крепостной дворовый человек графа Д. Н. Шереметева, Умный и расторопный он сумел выделиться из крепостной массы и был допущен к административным должностям в громаднейших графских владениях. Служба его началась в подмосковном имении Останкине, где, повидимому, и родился у него сын, а потом он был переведен в село Иваново (ныне гор. Иваново-Вознесенск) на должность управляющего этим большим промышленным селом.

Детство В. А. Рязанцева протекло в обстановке, в материальном отношении благоприятной, в доме отца, имевшего огромную власть в Иваново и жившего настоящим бариним. Грамоте мальчик учился в местной сельской школе, а потом был отвезен в Москву и определен здесь в 1-ю гимназию. Окончить ее ему, однако, не удалось, повидимому только как сыну дворового человека, доступ которым к образованию по законам того времени был крайне труден, а порою воспрещался и совсем.

Деятельным юношей Рязанцево возвратился в с. Иваново (ныне город Иваново-Вознесенск). Жизнь его здесь, вследствие отсутствия каких-либо определенных занятий, потекла самым беспорядочным образом. Он или зачитывался задом книгами, какие

только попадались ему, или занимался всевозможными развлечениями, кутежи между которыми стояли на видном месте.

Когда Рязанцеву исполнился 21 год, отец, желая отвлечь сына от праздности, женил его на вольноотпущенной девушке и дал ему возможность открыть небольшую мануфактурную фабричку, каких в то время, обслуживаемых исключительно членами семьи, в Иваново было много. В это время он был уже свободным от крепостной зависимости и даже числился купцом 3-й гильдии. Живой, впечатлительный и в высшей степени прямой от природы, Рязанцев, однако, не обладал комерческой смелливостью и через какие нибудь два—три года разорился. Вскоре после этого умерли у него родители, и обстоятельства круто изменились. Нужда заглянула к нему и заставила искать средств к жизни. Пытался он было получить службу у кого либо из местных капиталистов, но встретил при этой попытке со стороны их враждебное отношение к себе. Некоторое время он жил только на средства, выручаемые от продажи имущества умерших родителей, а потом взялся за сапожное ремесло, которое вскоре сменил на столярное. Но занятие ремеслом давало весьма скудный заработок, и Рязанцев все время жил в крайней нужде. Такая тяжелая жизнь привила к нему, незнавшему с детства нужды и жившему в довольстве, привычку искать утешения в вине, превратившуюся в конце-концов в пагубную страсть.

Но Рязанцев не пал окончательно и в этот печальный период своей жизни, будучи в возрасте уже за 30 лет, сделался писателем...

Около 1853 г. в с. Иваново поселился литератор Вас. Ар. Дементьев, автор народного рассказа „Левка бобыль“, многих стихотворений и ряда статей печатавшихся с 1859 по 1861 г. в журнале „Воспитание“ под общим заглавием „Педагогические очерки и заметки домашнего учителя“. Уроженец Костромской губ. он долгое время жил в Москве, работая в журнале „Москвитянин“, где был близким другом безвременно угасшего талантливого писателя из народа И. Т. Кокорева

и известного поэта и критика Аполлона Григорьева. Уехав потом на родину, он собирал там народные песни и помещал в Костромских Губернских ведомостях этнографические материалы. Очутившись в результате своих странствований в с. Иваново, он занял место учителя в женской гимназии и учил у себя бесплатно на дому детей ивановской бедноты. Богато одаренный и отзывчивый, он явился светлым лучем в темном царстве с. Иванова. Около него скоро образовался кружок из любителей литературы, в числе которых был между прочим и известный впоследствии писатель-народник, уроженец с. Иванова, Ф. Д. Нефедов. Вошел в этот кружок и Рязанцев, с ранних лет юности страстно любивший литературу и всегда много читавший. Влияние кружка благотворно отразилось на нем. Он тоже взялся за перо, и вскоре в журнале „Сын Отечества“ (1851 г. № 12) появился рассказ „Хороший человек“. За этим рассказом последовало сотрудничество Рязанцева в качестве корреспондента в „Московских Ведомостях“ (редакции Корша). Но в общем писал он мало. Причиной к этому являлось, помимо тяжелых жизненных условий, и то обстоятельство, что он, по свидетельству Ф. Д. Нефедова, не получал за свои произведения платы. А это для него, существовавшего на гроши, было весьма существенно.

В конце 1862 года уехал из Иванова Нефедов, а потом и Дементьев. И Рязанцев остался один с своей постоянной нуждой и враждебным отношением к себе окружающей грубой невежественной среды. Но он, продолжая заниматься столярным ремеслом, всетаки не оставил литературных работ, и в 1866 г. в московском журнале „Развлечение“ (№№ 25—29) появилось новое его произведение, повесть „Добрый человек“, написанная на местные ивановские темы.

В этом же году он вновь увиделся с приехавшим на время в Иваново своим другом Ф. Д. Нефедовым. Последний впоследствии так вспоминал об этой встрече с Рязанцевым: „положение его в это время было самое печальное: во всем доме не было

пятачка на который можно было-бы купить хлеба" А тяжелая жизнь и пагубная страсть к вину в конце расшатала к этому времени здоровье Рязанцева. Прощаясь с Нефедовым при отъезде его из Иванова, он сказал последнему: „знаешь, что я тебе скажу; я, брат, должно быть скоро умру. Грудь все что-то болит, Нынче со мной часто припадки делаются. Я только не говорю домашним, а больно страдаю". И действительно, вскоре после этого, 7 ноября 1866 г. он скоропостижно умер, оставив после себя в нищете жену и четверых детей

После смерти Рязанцева в „Развлечении" появилось еще два его рассказа: „Божьи люди" (1866, № 47) и „Знахарь" (1867 г. №№ 14—15).

Перечисленными в этой статье произведениями исчерпывается весь литературный багаж нашего писателя. Как он не мал, но по нему все же можно судить, что Рязанцев обладал несомненным дарованием. Но тяжелые условия былой печальной русской действительности не дали ему развиться в должной мере, и благодаря этому Рязанцев является не выдающимся писателем, а лишь одним из многочисленных загубленных русских талантов.

Леон. Богданов.

С. Ф. РЫСКИН.

23 августа 1920 года исполнилось 25 лет со дня смерти скромного, но талантливого и симпатичного поэта, Сергея Федоровича Рыскина. В наши дни он совершенно забыт и никому неизвестен. Мы решаемся воспользоваться удобным случаем напомнить о нем хотя бы иваново-вознесенцам, которым он должен быть особенно близок, как их земляк и певец-сатирик родного ему „Русского манчестера".

Сергей Федорович Рыскин родился 1 октября 1859 года в селе Писцове, Костромской губ., где у его отца была крупная ситценабивная фабрика. Первые детские годы его протекли на родине, в с. Писцове, а потом он стал жить в Иваново-Вознесенске, куда

после продаж собственной фабрики, переселился его отец, устроившись здесь управляющим на фабрику Полушина. Десятилетним мальчиком после домашней подготовки, Рыскин был отдан во Владимирскую гимназию. Здесь он прouчился до 5-го класса, с первых же лет учения обнаружил выдающиеся способности. Когда же родители его переселились в Шую, он перевелся в Шуйскую гимназию. Прouчился он здесь, однако, недолго и вышел до окончания курса. Поводом к оставлению гимназии послужило тяжелое заболевание его нервным расстройством, вызванное внезапной смертью отца, и переезд после этого на жительство опять в Иваново-Вознесенск. После выздоровления продолжать образование в гимназии за великоозрастием оказалось невозможным, и вследствие этого Рыскин осенью 1879 г. поступил учиться в Ковровское железнодорожное училище.

Еще до поступления сюда, Рыский, начавший очень рано писать стихи, впервые выступил в печати, поместив за подписью „Слово Рцы" в № 12 популярного Московского журнала „Развлечение" за 1878 г. свое стихотворение „Ванька Каин" стрывок из поэмы: „Кому вольготно весело живет в сдном не то селе, не то городе". Рассказывают, что появление этого стихотворения наделало в Иваново-Вознесенске много шума, так как под именем „Ваньки Каина" был выведен местный фабрикант-миллионер И. Гарелин.

Во время ученья в Ковровском железнодорожном училище Рыскин начинает печататься уже постоянно. Первые стихотворения его были по большей части сатирическими и юмористическими, и из них не мало было посвящено родному Иваново-Вознесенску, как, например, помещенные в „Развлечении": „Вася безоброчный" (последняя глава из поэмы; „Кому вольготно, весело живет в одном не то селе, не то городе), № 23, 1879 г.; „Современная баллада". („В городе Русском Манчестере", так он подчас величается, каждый год чудо великое тайное чудо свершается"), № 2, 1880 г. „Современная баллада" („Манчестера русского трубы дымят"), № 14, 1880 г.

Товарищем одноклассником Рыскина в Козровском железнодорожном училище был, между прочим, П. В. Заведеев, тоже начинающий писатель владимирец*). Между юношами была тесная дружба и они вместе выступали в „Развлечении“ с обличительными произведениями на тогдашние железнодорожные порядки: П. В. Заведеев прозаическими очерками— „Железнодорожные герои и их геройства“, а Рыскин с отрывками из поэмы в стихах „Железнодорожники“ („Дубинушка“ № 23, 1881 г., „Герасим печник“ № 22, 1881 г., „Дядя орган“ № 28, 1880 г., „Сорок из сорока сороков“ № 47, 1880 г.).

Окончив в 1882 году железнодорожное училище, Рыскин поступил машинистом на Московско-Нижегородскую жел. дорогу. Но железнодорожника из него, однако, не вышло. Прослужив всего полгода он уволился, уехал в Москву и стал заниматься исключительно литературой, устроившись в редакции „Московского листка“. Произведения его одновременно с этим печатались и в других изданиях: „Развлечении“, „Гусяре“, „Русском Сатирическом листке“, „Занозе“, и, кажется, в „Будильнике“. Печатался он под своей фамилией и под псевдонимами: Р., Рн, С. Писцовский, Никсыр, Сигма ро, Философ из Рогожской, Русский, Слово Рцы, С. Ф. Королев и Лягушатник. С. конца августа месяца 1891 г. Рыскин оставил со трудничество в „Московском Листке“, и перешел работать в „Русский Листок“, в котором с тех пор, да изредка в „Петербургском листке“ и стали появляться его произведения.

Плохо обеспеченный, Рыскин вынужден был много работать. В результате тяжелой борьбы у него развилась чахотка. По совету врачей оч в 1895 году ездил в Липецк, но оттуда вернулся в Кусково, где жила его семья,

почти полуживым. В начале августа 1895 г. родные, по его желанию, перевезли его в Москву, где он и скончался в час дня 10 августа 1895 г. Похоронен он на кладбище Андрониева монастыря.

С. Ф. Рыскин не оставил крупного следа в литературе, на что ему давали право его природное способности. Нуждаясь постоянно в деньгах, обремененный семейством, он принужден был, что называется, размениваться на мелочи. Писал он много, не только стихи, но и прозу— очерки, рассказы, а в последние годы, когда работал в „Русском листке“, и романы. Большинство произведений его погребено на страницах ныне забытых газет и журналов. Отдельными изданиями вышли только: том стихов „Первый шаг“ (М., 1888 г. 160, 456 VI стр.), да роман „Купленный митрополит или рогожские миллионы“ (М., 1893 г. 80, 414 стр.). То и другое теперь библиографическая редкость, особенно стихи.

Розаические произведения Рыскина в художественнм отношении не велики. Но зато много достоинств, прелести и красоты в его стихах. Глубоко симпатичны они и по своему содержанию. Поэт охотно и с большой любовью изображает в них жизнь бедного трудящегося люда; неподдельное сочувствие к ближнему, скорбь за несчастных, униженных и оскорбленных часто слышатся в них. А в многочисленных юмористических и сатирических стихотворениях зло, неправда, темные стороны людей и русской действительности нашли себе в Рыскине жгучего обличителя. Но особенно хороши у него стихи, посвященные описаниям родной природы. Насколько они прелестны и полны ярких образов и красок можно судить вот хотя бы по этому стихотворению.

Первый проблеск утра...
 Морем перламутра
 Искрятся, сверкают ярко небеса...
 Кутаясь в тумане,
 Точно великаны,
 Еще дремлют тихо рощи и леса...
 Ветерка порывы
 Рассудили нивы,—
 Зрелые колосья шепчутся, дрожа:
 „Срежут нас серпами,
 Свяжут нас снопами,—
 И прощай, родная, милая межа!...“

*) Павел Васильевич Заведеев, писатель-юморист, известный под псевдонимами: П. Таракашкин, Поль—за..., Маркиз Повезе, и др., автор книги „Железнодорожные Ахиллы и Гекторы“ многочисленных юмористических рассказов и очерков в „Развлечении“, „Стрекозе“, „Будильнике“ и др изданиях; родился в 1860 году в г.р Александрове, Владимирской губ., умер в 910 г. во Владимире, в ночлежном доме для босняков.

И явились жницы,
Красные девицы....
„Здравствуй, наша нива!“... Звякнули серпы.
К вечеру над нивой
Золотистой гривой
Колыхались гордо пышные снопы....
Спят на ниве жницы
И на их ресницах
Призывают грезы ночи голода,
И над ними бездной
В ризе многозвездной
Величаво, тихо дремлют небеса...

Не мало найдется у Рыскина и других прелестных стихотворений.

Леон Богданэв.

На родине писателей Потехиных.

Едва-ли все знают, что в глубине нашей Иваново-Вознесенской губернии есть интереснейшее старое дворянское поместье,—усадьба родных братьев писателей-романтиков Алексея Антиповича и Николая Антиповича Потехиных, произведениями коих зачитывалось целое поколение 60—70 годов прошл. столетия. Впрочем, некоторые из их произведений не утратили своей цены и до наших дней.

Вот об этих-то писателях-романтиках я и хочу напомнить нашему читающему краю.

Усадьба их находится в деревне В. Орехово, Филисовской вол., Юрьевецкого уезда.

В Орехово находится в глубине Юрьевецкого уезда, вдали от железной дороги, Мы под'езжаем сюда на крестьянских подводах. Миновали лес, выбрались в поле, и перед нами ряд вросших в землю, темных, низеньких крестьянских домиков, занесенных снегом. Невдалеке от деревни, почти на краю ее, находится березовая роща, за нею белеет старый помещичий дом,—это и есть дом Потехиных.

Уже поздно. Мы остановились в деревне, в крестьянском дому, чтобы на утро отправиться осматривать усадьбу. Мы вошли в бедную крестьянскую избу, впрочем все они здесь одинаковы, не отличишь одну от другой. Несмотря на сравнительный достаток крестьян и на то, что они занимаются изготовлением посуды—горшков, кувшинов, плешек и др. гончарными

изделиями,—жизнь крестьян сразу поразила нас своей неустроенностью. Едва мы вошли в избу, как бросился в нос удушливый запах гари щекоктавший в носу и вызывавший слезы. Мы осмотрелись: изба была „курная“, где дым из печи выходит прямо в избу, а уже из избы через отдушину проходит на волю. Несмотря на вечер, своеобразный запах дыма стоял в доме, им пропахли стены, потолок, одежда и все, что было в доме. Следы копоти покрыли весь дом. Эта не единственная здесь изба. Все избы в деревне „курные“—такие же, как были много десятков лет тому назад еще при крепостном праве. Жизнь сделала с той поры совсем незначительный сдвиг в этом краю.

Мы заговорили об этой старой усадьбе Потехиных с крестьянами, о братьях Алексее и Николае Антиповичах.

Крестьяне говорили:

— Что же, давно это время было, всего и не упомнишь. А все-таки хорошие господа были, плохого от них не видели даже в старое время. Прямодушные были господа. У других, послушаешь, в округе оброк большой был, притесняли, били, обхождение было тяжелое, у нас слава Богу—этого не видали. Сами господа редко бывали дома, все в столице жили, а управляющему все-таки воли большой над нами не давали.

Более подробного мы об этом редком памятнике старины не узнали. Да и было уже поздно, мы легли на полу, на подостланной для нас соломе.

Еще и до сих пор немало встретишь людей, зачитывающихся произведениями этих двух братьев.

Алексей Антипович родился в 1829 году в г. Кинешме, умер в 1908 г. в С.-Петербурге. Полное собрание его произведений было издано первоначально (в СПб) в 7 томах: I том „Очерки и рассказы“, II—„Повести“, III—„Крестьянка“ роман, IV—„Крушинский“ роман, V „Бедные дворяне“ роман, том VI и VII драматические произведения: „Мишура“, „Суд людской, не Божий“, „Шуба овечья—душа чело-вечья“, „Чужое добро в прок нейдет“, „Вакантное место“, „Отрезанный ле-

мать", „В мутной воде“ и др. В 1904 г. товариществом „Просвещение“ издано полное собрание его произведений в 12 томах.

Родной брат его Николай Антипович родился в 1834 г., умер в 1896 г. Образование получил на юридическом факультете в Московском университете. Служил чиновником особых поручений по акцизу. За сношения с лондонскими эмигрантами был посажен в крепость. Выйдя в отставку, стал сотрудничать в „Искре“, „Отечественных записках“, „Деле“ и др. изданиях. Был актером и режиссером. Во время Турецкой кампании писал корреспонденции с театра войны, а по возвращении стал постоянным сотрудником „СПБ. Ведомостей“, под псевдонимом Рыц, Слово, Твердо. На литературном поприще выступил в 1859 г. повестью „Бесталанный“, известен более своими драматическими произведениями: „Наши безобразники“, „На Нижегородской ярмарке“, „Выборное начало“, „Благотворители“, „Весенняя любовь“, „Откупные козыри“, „Наши в Париже“, „Мертвая петля“, „Нищие духом“ и др.

На другой день мы отправились в усадьбу.

Усадьба представляет из себя деревянный одноэтажный дом. В новой пристройке дома живет семейство латыша-беженца Я. Х. Скуанек, ничего не имеющего общего с литературой.

Во многих комнатах запустение, паутина, местами сырой иней и пыль покрыли стены этих комнат, в которых жил и вынашивал свои страдания в душе писатель. Мертвый вид представляет из себя этот нежилой старый дом романтика. Стоят зеркала, мебель, пианино с раскрытой клавиатурой, 2 библиотечных шкафа с тисмами, рукописями, грамотами и книгами. Часть библиотеки взята учителем местной школы. Часть ценного исторического материала, как говорят, утеряна и растрачена, а между тем эти материалы могли осветить целую эпоху жизни и быта нашего края.

В одной из зал висит великолепной работы портрет Н. Потехина. Мебель красного дерева выглядит сиротливо запущенно.

Не худо бы это старое дворянское гнездо писателей шестидесятников, произведения коих внесли не малую долю в сокровищницу русской литературы—привести в порядок.

М. А.

К. Д. Бальмонт.

Известный поэт Константин Дмитриевич Бальмонт родился в 1867 году в усадьбе Гумнищи Шуйского уезда. Учился в Московском университете, откуда уволен за студенческие беспорядки. Первый сборник его стихотворений издан в г. Ярославле. Бальмонт является типичным представителем городской культуры, с ее быстро меняющимися настроениями. В революционный период (1905 г.) в настроениях Бальмонта встречается стремление слиться с жизнью массы. Нередко Бальмонт ищет вдохновения в легендах, песнях и верованиях первобытных народностей, ему принадлежит целый

ряд переводов первоклассных западноевропейских поэтов.

В истории выработки новой поэтической формы значение Бальмонта огромно. Он сумел придать русскому стихотворному языку удивительную гибкость, звучность и красочность и один из первых сблизил у нас поэзию с музыкой.

Бальмонт нередко бывал в г. Иваново-Вознесенске. Между прочим, в 1917 г. (в дни свержения царизма), будучи в нашем городе, он написал следующее стихотворение, не вошедшее в его сборники:

ВОЛЬНЫЙ СТИХ.

Какое гордое счастье—знать, что ты нужен людям,
Чуть, что можешь пропеть—стих доходящий в сердца!
Сестры! Вас вижу я, сестры! Огнем причащаться будем!
Кубок пьянящей свободы, братья, испьем до конца!

Силою мысливших смело, свершеньем солдат и рабочих,
Вольными быть нам велит великая в мире страна.
Цели звенели веками. Цели изношены. Прочь их!
Чашу пьянящего стастья, братья, осушич до дна!

Смелые сестры, люблю вас! В ветре вы птицы живые!
Крылья свободы шуршат шорохом первых дождей.
Слыва тебе и величие, благодатная в странах Россия,
Многовершинное древо, с переключкой и гудом ветвей!

Иваново-Вознесенск.
1917. 13—14 марта. Ночь.

Очерки и рассказы.

В ТИХОМ ГОРОДКЕ.

(Плесские впечатления).

Тихие горные кручи, покачнувшиеся беседки, узкие сонные улицы и в рамках полисадников—небольшие и постаревшие дома.

Проходит розовый праздник листопада, осыпались с берез и кленов расшитых янтарем и золотом, вымороженные ветрами и утренниками, листья, золотисто-сухой чешуей покрылись горные склоны, а по небу протянулись длинные, волокнистые тучи наморщенные и разорванные, как обрывки парусины. Целые дни беззвучны улицы, целые дни маленький городок тих и спокоен.

Ветерок треллет верхи деревьев, шуршит в сухой чаше листья, а небольшие дома приветливо смотрят полуслепыми глазами,—занавешенными кисеей окнами,—по утрам из труб ползут волоконца сивого дыма, а вечерами в окнах мигают огньки,—яркие и манящие созвездья.

Городок стар и в своем роде знаменит. Он когда-то пережил татарское нашествие. — говорят, старые горные кручи хранят в себе много следов того далекого времени, говорят, в них скрыты луки и колчаны, амсцветы-червонцы и копыя.

О городке мясго писали, в городке жили культурные знаменитости. Да о

нем и нельзя не писать. Его тихая жизнь, его прелесть и красота, наконец, будущее его, которое, несомненно, будет славным (хотя и разрушившим его патриархальность и быт)—влекут к себе. Городок красив. Горы, Волга, старые плакуньи церкви, сады и кое где домики в стиле „Empire“—все это самобытно, прелестно и очаровательно.

Здесь хороша, печальная в своей кроткой и застенчивой радости весна, хорошо зеленое лето, не дурна глухая зима с серебряными утрами и рдяными закатами, но самое лучшее здесь время, это, пожалуй, осень, и, даже ее конец,—пора туманов, плача отлетных журавлей, тусклых и в большинстве безветренных деньков, пора обмокших луговин и особенно в такие дни очаровательной и кроткой не успевшей облететь листья.

Эта пора, когда тянет к работе, когда особенно вспоминается былое, когда по вечерам, особенно милой и уютной кажется комната, с тусклой лампочкой на столе, а из книг всех ценней становится старый и полуотрепанный томик Пушкина,—лучшая пора в маленьком, забытом городке.

По своему настроению она сходна еще с днями ранней весны,—с такими же туманными днями, с теплым запахом талых крыш, с великопостным колокольным перезвоном и с фигурами сгорбленных старух, медленно шагающих к „стоянию“...

Как ранней весной, так и поздней осенью,—городок обаятелен. В нем тогда чувствуется, что то особое,—явно ощущается дыхание старины, что то особенно поэтическое, что когда-то было здесь; тогда в нем, в каждой черте, в каждом звуке,—сквозит „дореформенный“ уклад жизни, был далеких и селых лет,—пускай уродливый и нелепый, но такой показательный для старой страдальницы—Руси.

По летам Плес бывает оживлен,—еще так недавно по летам мелькали здесь роскошные платья, проезжали по тихим улицам рессорные экипажи,—здесь „развлекались“ бывшие господа, отдыхали на „лоне природы“ человечки с башмаками в дорогих серых костюмах, блуждали по окрестностям „русской швейцарии“, пресыщенные дамы, быть может, в первый раз глядели на русскую деревню, и на ее обитателя—искалеченного жизнью мужика.

Осенью городок пуст, и в этой тишине он снова становится самим собой,—и только осенью можно вполне понять его красоту,—понять, за что любили его заглядывающие сюда люди литературы и живописи.

Плес воспет словом, Плес запечатлен и на полотнах, о Плесе, не считая многих газетных статей, писал один из маленьких писателей—Северцев-Полиллоу, запечатлевший его в романе „Развиватели“, содержание которого и героев он целиком взял из местной жизни,—из жизни раскольниковых семей. В качестве рамки для цельного и красивого рассказа „Сон сладостный“, взял Плес сантиментальный Чириков, где он дал грустную историю молодого сердцем старичка мечтателя—фигуру действительную, которую в Плесе помнят и о которой могут рассказать теперь. Здесь одно лето жил Найденов, и здесь же писал одну из своих (правда неудачных) пьес—„Роман тети Оли“. А около Плеса есть дача Шаляпина—в ней он вместе с М. Горьким хотел провести лето, но помешала война.

Но лучше и полней изображен городок в живописи, Плес зарисован Волковым, а главным образом одним из лучших русских пейзажистов, одним из симпатичнейших и прекрас-

нейших художников—скромным, грустным Левитаном. Можно с уверенностью сказать, что Левитан прославился через Плес, он—поэт Плеса, и Плес должен чем-нибудь увековечить своего певца. Левитан нам дал на полотнах то же, что в простых словах обрисовали—в старой литературе Тургенев, а в современной—Чехов, Бунин и Зайцев,—простые, серые и в простоте своей неизмеримо прекрасные зарисовки русской природы; широкие скучные поля, лошади, овражки, тихие,—нежные весной и узорные, как расцветенная лампадами божница, осенью,—песа, убогие, такие же, как были они при „Владимире Красном Солнышке“,—деревеньки, рдеющие осенние закаты и задымленные туманом дни,—все это налицо в творчестве Левитана. И прекрасными образцами в этом отношении служат его полотна, на которых мелькают местечки Плеса.

В Плесе Левитан написал свои жемчужины; здесь наприм., написана „Золотая осень“, и „После дождя“, „Вечер“, „Березовая роща“ и др. Но знаменитая картина „Над вечным покоем“,—погост и часовенка над Волгой, по которой обыкновенно, судят о Плесе,—написана, по исследованиям и запискам Кувшинниковой,—лица, очень близко стоявшего к Левитану,—в Тверской губернии, хотя сама часовенка взята здесь,—здесь есть такой же одинокий погост над Волгой, который очень любил Левитан—он (по запискам той же Кувшинниковой),—часами сидел здесь любуясь на Заволжские дали. Там была часовенка—маленькая, бревенчатая и ветхая, с покосившимися ступеньками и поросшими мохом стенами,—но она около десяти лет назад сгорела и теперь на месте ее,—другая,—каменная, с сохранением стиля, но недостроенная.

Плес и теперь посещает много художников. Из современных можно отметить А. К. Маковского и, вообще, летом, художник—необходимый атрибут для городка,—езде по горным кручам, под старыми плакучими берегами увидишь маленькие белые зонтики..

Плес нельзя не любить,—но в нем также нельзя и жить постоянно,—за-

то несколько месяцев, проведенные здесь, будут самым лучшим и плодотворным отдыхом.

В эти дни многое забудешь, многое вспомнишь, будешь снова самым собой. А дни хороши,—дни туманов и дсенней печали. С утра и до вечера—пыльные дали, тучи и тишина. Бродишь по улицам, по горам, слушаешь шестест раззолоченно-сухого ковра листья, смотришь на спокойные дома, на наволжские поляны с поясами холодных озимей, обмокших пашен и закуванных соломою деревенек; забредешь на погост над Волгой, вспомнишь и вообразишь тень когда-то грустившего здесь Левитана; пройдешь цветной лентой лесной тропы, заслушаешься звонким гулом, охотничьего рога,—и сразу почувствуешь себя иным, мечтателем,—влюбленным в голубозатую звезду—Вегу“...

В Плесе живешь задним числом; кажется, что мощные крылья революции прошумели, не задев Плеса,—так, по крайней мере, кажется снаружи,—здесь тот же старорусский уклад жизни, те же дни мещанского бытия, разнообразимые чаями, посахаренной брусничкой и мочеными яблоками; так же по праздникам дробно вызванивают колокола и собираются в старых церквках толпы богомольцев; также целые ночи молятся с „дестовками“ старухи, и также сходятся „попроферансать“ (только без бутылки коньяка и мадеры) интеллигенты—сколки с Чеховских героев, да потомки Соллогубовского Передонова из „Мелкого беса“.

А скоро запорошит снег, кружевами и вязью оденутся березы еще раньше будут лучиться по вечерам огоньки, загудят ветры—и тогда городок будет казаться утолком „не от мира сего“, еще больше будет напоминать зарисовку старой-старой Руси, и еще явственней будет казаться, что красные флаги, которые веют над некоторыми зданиями, долго—долго еще не пробудят спячки, и долго не перевернут веками вкоренившегося здесь быта.

Ник. С—ов.

По окрестностям Плеса.

Насколько хорош старый, меланхоличный Плес, настолько же хороши и его окрестности. Плес—граница трех уездов—Кинешемского, Костромского и Середского,—но в нем нет ничего ни от одного из них: никаких влияний фабрик, промышленности и городского шума, на нем почти что не отразилось. Плес,—живущий своей жизнью,—редкое местечко; по своей красоте, по своему особенному, „Рериховскому“ колориту, он—настоящая жемчужина Красной губернии.

Тихая русская весна снова овеяла его своими зелеными крыльями; словно затянутые лунной кисеей, бледно-защервонели горные склоны; зазеленела Волга—широко раскинулись за ней глянецкие пашни и ложбины, такие кроткие и печальные под потускневшим снежным венчиком шумных овражин.

Весной нельзя сидеть на одном месте: „весна и счастливых тянет в даль“. И с какой радостью пройдешь голубым утром безлюдной улицей мимо домок с чешуйчатой вязью занавесок,—выйдешь к серым полям, к широкой старой дороге с плакучими березами, которая расписным рушником перевила бурые угоры и мягкой бахромой опушила лиловые низы пахучих вешних перелесков.

* * *

Тот же неуловимый налет старины, что сквозит в Плесе, лежит и на его окрестностях,—он заметен даже в самых названиях чем-то милым, напоминающим Мельникове-Печерском, им веет от ближних деревень; какие это все деревни, святорусские названия: „Погост“, „Остров“, „Спасское“, „Ограда“.

Здесьние деревни еще целиком во власти старого быта, отдаленные от фабрично-заводских центров, с населением, глубоко прикрепленным к „землице“ (она их здесь, сравнительно, обеспечивает),—они маловосприимчивы к новому строительству, к новым условиям. Все „нововведения“ проходят здесь очень туго.

„А наши пустоши и сечи!—„Милойка“, „Шумятка“, „Гремячка“,—точь в точь—места Лаврецкого или Ростовых.

Хорошо в этих пустошах! Хорошо смотреть с гор тихой „Гремячки“ на волжский разлив; подножья гор залиты водой; тихо дрожит над ее голубоватым зеркалом бахрома сосняка; вблизи, в ложбине,—древнее староверское кладбище—темный ряд высохших над солнцем деревянных крестов и сгнивший голубец, на котором тускло светится иконка в ржавленной оправе. А в вышине, как грустный орган в сумеречно костеле, тихо тихо звенят птичьи голоса.

Многое, многое, вероятно, дала душе Левитана тихая „Гремячка“!

...Вокруг Плеса раскидано много усадеб. Среди них встречаются колоритные, стильные памятники старины, вроде дома в с. Ногине, где есть громаднейший, заросший по краям пруд и липовый парк, в котором летом на зорях, воркуют горлинки.

Хороша усадьба „Никольское“ по Середскому тракту, но как образец прошлой красоты, безусловно, надо взять усадьбу на Волге (в 3 верстах от Плеса), ранее принадлежавшую черному витязю русской истории—Плеве.

Здесь еще сохранились надворные стройки, а сам дом серый с полукруглым балконом, с узковатыми „цветными“ окошками,—и снаружи кажется, что там—портреты в позолоченных багетах, бездельная, сытая жизнь и грустный „Полонез Огинского“.

Рядом с этой усадьбой—как параллель стило и вкусу старорусского дворянства—дача Шалапина—угловатое и мещански убогое здание, похожее на второразрядную немецкую ферму. Дача была построена, очевидно, неумелым „архитектором“; она „воздвигнута“ во вкусе, (верней, „скусе“) „нюхавшего заграницы“ купца из „Китай города“.

...Если красная нить почти недоступна запутавшейся в паутине торгового деревня, то в усадьбах ее влияние наиболее ярко и ощутительно: в некоторых из них—трудолюбивые артели, некоторые заняты под волисполкомы, а часть скудно, тускло доживают последние дни—неуклонно и быстро идут к их естественному концу—печальной участи Бунинской „Лучезаровки“.

* * *

Не менее замечательными, как отзвуки и отклики старины, в окрестностях Плеса служат ветхие церкви и часовенки.

Из них необходимо отметить церквушку в с. Антоновском (4 в. на противоположном берегу Плеса).

Антоновское находитя невдалеке от знаменитой дер. „Сторожева“, называемой так потому, что в годы татарщины здесь был сторожевой пункт. Между „Сторожевым“ и близкой к нему другой деревней—„Ворониным“—еще до войны были произведены археологические изыскания и раскопки. Они увенчались относительным успехом—были найдены редкие вещи (среди них татарские), которые до сего времени хранятся в Костромском музее.

С. Антоновское—на высоком горном склоне. На север от села—глухомань, извечные традиции и поверья; даже, вблизи, в 2—3 верстах от Антоновского, по мховым болотам, можно встретить немудренские, простенькие кельи „голбешников“ и „австрийцев“.

Церковка—в ложбине; стройка деревянная; на расшатанной колокольне разбитые, дребежащие колокола; внутренность—скромная: простые резные иконостасы, древняя грубоватая иконопись. Вокруг церкви—река, розовые мелоча, угоры,—место похоже на прелестные картины Нестерова.

В деревнях с этой церковью связано много преданий, много хороших, раздумчивых сказов.

Незабываемые впечатления оставляют такие места!

К сумеркам, пробираясь по оврагу на ближнюю опушку, невольно остановишься здесь, и долго, долго смистришь на целомудренную красоту внешней Руси.

Любуешься церковью, деревней, ригорками, видевшими расписные кафтаны скуластых татарских наездников,—чувствуешь, что живешь будто на гранях нового, солнечного дня, а в далекие—далекие годы, далекой далекой старинной весной: так и думается, что в Радуницу, в печальный Навий день, побредут из се а мужики и бабы на погост, за старую церквушку,

будут причитать по умершим, будут поливать старые „жалютики“ сыченой брагой.

А когда вечером, в звонком от птиц березнике, жадно глотаешь волнующие запахи сыровой земли, кожаного патронташа и закопченных ружейных стволов, когда ждешь милого, с детства знакомого хорканья вальдшнепов—как дополняют это грустное и сладкое раздумье девичьи песни.

—Эх, хорошо поют на весеннем закате деревенские девицы!..

* * *

Эти усадьбы, церковки и дорога с плакучим березами, похожая на Владимирку, — (удесная рамка для жемчужины Красной губернии — тихого Шлеса) — дают прелестный источник радости как специалисту — этнографу, так и всем, кто любит весну, жизнь поля и деревни...

Ник. Смирнов.

Старая Вичуга.

Широкие поля с горами холмов и чашами овальных долин, покрыты снежной пеленой, которые в солнечные дни залиты блестящей россыпью алмазной пыли; а когда тучи гасят лазурь, по ней седым переливом скучных волн крутятся поэмка. Мягкая широкая дорога в ухабинах и раскатах; иногда протянется мужицкий обоз, иногда прозвенят, как обрывки девичьей песни, залихватые бубенчики. На дорогу скучно смотрит фабрика, тихая и безвучная, выпятившая в высь огромную трубу, — черную от дыма и копоти.

Село — странная смесь промышленного капитализма с глушью русской деревни.

На одном конце — фабричный корпус, фабричные дома, заплывающие, дымные рабочие лачуги, а на другом, удерживаясь в поле, — избы, запорошенные гумна а на сплюснутых овинах — рваные, дырявые шапки из беличьего меха.

Старая Вичуга — часть фабричного края.

Вся окрестность тронута разлагающим ядом капитализма. По истинне, трудно сыскать что нибудь тяжкое

чем фабричная жизнь недавних лет. Здесь господствовал самый темный, самый жадный, самый ненасытный капитализм, — голый, сырой, русский, отличающийся от лошеного европейского капитализма обнаженностью своей грабительской сущности.

Фабричное дело было поставлено самым примитивным, самым безыскусственным способом. Владельцы фабрик начинали с копеек, каждый алтын „проколачивали гвоздем“, выбивались „в люди“, и по отношению к рабочим были истинными рабовладельцами.

Тип „просвещенного“ капиталиста, того, что от миллионов складывает рубли на постройку какой нибудь больницы или детских яслей, — здесь был чужд. В вичугском капиталист выходил из мужиков, скряжничал, был настоящим „кремнем“.

Самобытный, жадный на локвих проделках, вылезавший в тысящники, — он и рабочих и администрацию де жал в цепком и крепком кулаке.

Это был „Потап Максимович“, человек, по своему широкого размаха, человек, крепкий в убеждениях и взглядах, в большинстве, старообрядец, богомольный, смиренный в своей „моленной“, а на вечеринках, не морщась, пьющий очищенную, любящий спеть „Выйдуль я на резиньку“, под гармошку не отказывающийся от „присяжки“, а в домашнем обиходе — деспотичный, властный и придирчивый.

— Вся эта нудная, бескрасочная фабричная жизнь, полно и ярко отражалась в Старой Вичуге.

Дни текли ровно, бесшумно, — серенькие дни, тоскливые, как птица с обрезанными крыльями, и страшные, пугающие своим убогим и нелепым содержанием. Люди теряли свои черты, искажался облик человеческий, человека поглотила машина.

Рабочие жили в конурах, в грязи, копоти, валялись на заплывающем полу, по двенадцати часов простаивали у станка.

Хрипели фабричные гудки, весны сменялись летами, осени — зимами, а жизнь никуда не сдвигалась, — казалось, что она застыла на одном месте.

Неделю работали, а в праздник топились в вине; плакала гармонь, надтреснуто звучали голоса; разыгрыва-

лись дикие кошмары драк; заедала тоска, не было ни дум, ни упований.

Развращалась фабричная молодежь без книг, без света, оторванные от жизни,—в праздники, разодевшись в „панамы“ и остроносые „штилеты“, — парни целые дни проводили за картами проигрывали последние гроши, — пили, пили и пили..

Это было на окраинах села. Середина жила по иному. В фабрикантских домах тоже шло пьянство, но здесь от ничегонеделанья. А маленькие мещанские дома жили особой жизнью.

Обитатели их дни проводили в маленьких лавочках, целый день пили чай, побрякивали „медяшками“ а по вечерам дома сытно ужинали, на „сон грядущий“ перекидывались, по семейному. „картишками“, по праздникам ходили в церковь, приходили от туда с радостными физиономиями, набожно крестясь, разламывали просфору, а после обеда „отдыхали“ на пуховиках.

И только где нибудь, земский доктор, или сельский учитель, сидели за книгой, вспоминали мечты и ласки юности, дымные комнаты, речи о „служении народу“, но и они, под конец, махали на все рукой—думы о чистом и великом заменяли грубые ласки кухарки, и книгу—штоф с очищенной...

... Хрипели гудки, рокотала фабрика, сонно смотрела выбоинами окон пустая усадьба, и никуда не сдвигалась застывшая серенькая жизнь.

... Теперь затишье, белые улицы, мягкие снежные хлопья, затканье тусклой дымкой дали.

В селе—тишина, и когда выйдешь в поле, увидишь ползущую поземку, деревянные лачуги, перелески, покрытые снежным мехом,—хочется одеть за плечи котомку и тихой, извивающейся в снегах дорогой, опираясь на палог уйти одиноким странником.

Но это снаружи это только оболочка—присмотришься внимательней—и видишь, как в тишине зреет новое, и зерна, брошенные революцией, начинают подниматься пышными и плодотворными ростками.

Революция многое разрушила, тяжелая борьба многое унесла. Сельская площадь, бывшая шумной и гул-

кой, как муравейник, сейчас пустует: заперты лавки, не слышно бойкого торгашеского крика, и только м роз, ный ветер тихо хлопает старинной вывеской с бесграмотной надписью „Продажа чаю, папирос, а также предметов удовольствия“.

Отсюда невозвратно громадные зимние базары, когда сюда с,езжалась вся округа, площадь была залита овчинами и дублеными шубами, полушубками, когда над гр. хочущей толпой хрипел и скалил зубы потешный „Петрушка“, когда с „конной“ неслое раскатистым серебром лошадиное ржание, и разбрасывая сгустки желтого, как халва снега, запряженные в узорчатые сапожки, быстро носились сытые фабрикантские „воронье“ и мягкий, серебряный звон бубенчиков разносился беззаботной манящей удалью..

Переменялась жизнь. В рабоче лачуги заглянул светоносный лик свободы, повеяло новым, пока еще неясно очерченным, но сильным и великим; раскололся уклад жизни, тянувшийся века. Над громадными фабрикантскими домами зааели флаг, появились незнакомые до сих пор надписи и лозунги; замуровались в своих домиках озлобленные мещане, оказавшиеся „не у дел“! Несколько интеллигентов, те, что раньше ерошили волосы, жадно опрокидывая стакан „сивушки матери“ ворчали,—„так жить нельзя—насилие произвол“, теперь оказались в стороне, оказались только зрителями того, что произошло и происходит. И только рабочий, проклиная кошмарное сегодняшнее, залитое кровью и невиданными невзгодами, но твердо уверенный в неизвестном по красоте, зватрашнем дне, остался на своем посту—он илет на борьбу, одной рукой размахивая мечем, а другой бьет молотом, взводя остов ножи..

„Новые птицы—новые песни“.

Когда про дешь тихой, узинькой улицей и выйдешь на площадь,—увидишь старую усадьбу, на крышке которой, как маятник, быстро раскачивается под ветром алый флажок.

Несколько лет назад, усадьба была покинутой, в ней были заколочены окна, падала растрескавшаяся штукатурка. Много оресных „толгосумов“

посматривало на эту усадьбу; хотя и при ней и не было „вишневого сада“, но все-таки она могла бы принести доход. Только хозяин ее,—купец Миндовский, не продавал, „Не могли подступиться“.

Миндовский был скуп, как пушкинский рыцарь, и богат, как Ротшильд: он имел несколько фабрик, массу домов, необозримые лесные просторы. Однажды с ним случился забавный случай: он надумал строить богадельню, но соорудил только здание—отделывать пожалел денег и заколотил в иной окна.

Народный поэт Ив.-Осокин, живший в с. Новая Гольчиха, написал поэтому случаю сатиру, которую ядовито начал:

„Превратил он корпус
Ткацку и отбельню
В дом богоугодный—
Просто богадельню...“

И эту усадьбу он приобрел как то с торгов. Она принадлежала раньше знатному вельможе, и когда-то, в соколовы годы, сюда приезжал в гости Николай 1.

... А теперь усадьбу не узнаешь. Небольшие оконца, с вырезными узорами морозной резьбы, смотрят ласково и приветливо; вместо „мерзости и запустения“—приятна мышь и сов,—сдесь оживленные голоса и шум. Здесь „Дом Свободы“.

Маленькие комнатки отведены под библиотеку и читальню, зрительный зал, с овальным балконом,—напоминает городской театр.

И когда, мимоходом, в праздничный день, заглянешь в „Дом свободы“, пройдешь по комнатам, послушаешь перезвон топящейся печки, помотришь на лица актеров, с горящими глазами, на портреты, которыми украшены стены, а за окном увидишь парк, с запыленными дорожками, с перевитыми серебряным кружевом верхами лип, особенно ясно чувствуешь, что то ноше что принесла революция, что зреет все пышнее и ярче, что на обломках старого, как вышивка на канве, воздвигается остов иной лучшей жизни.

Одинокий.

На реке Уводь

(Из записок старожила).

Иваново-Вознесенск, центр хлопчатобумажного производства Московского промышленного района, начал развиваться в XVIII веке. В то время село Иваново было—земледельческое село, поместье родственников Ивана Грозного—Темрюковичей Черкасских. Первые фабрики появились при Петре великом, а в 19 м веке за Уводью против села Иваново начала возникать торговая слободка, из которой образовался впоследствии посат с мест. Ямами, в данное время такой же, если не большая часть города.

Насчитывающий в данное время до 68 ситценабивных, красильных, аппретурных, отбельных, бумаго-ткацких и бумаго-прядильных фабрик и заводов, город в 18 веке имел всего две—три фабрички, или деревянные светелки с десятками рабочих. Тогда только еще начал зарождаться этот огромный рабочий городок на земле графа Шереметева и представлял из себя две кривых деревянных улицы и ряд крестьянских домиков.

Ивановцы занимались, как и соседние крестьяне, обработкой земли, но плохая земля (суглинок) заставляла искать других источников дохода.

Отдаленное от Москвы большими лесами и затерянными среди них проселочными дорогами, село Иваново могло бы жить сравнительно хорошо, если бы у Шереметевых не были верные люди. Здесь, в Иванове, имелась „мирская“ изба, где усиленно применялись наказания к провинившимся крестьянам, или к тем, которые не исправно вносили оброки.

Кроме того, в те годы шла усиленная торговля людьми. Разлучали семейства, перегоняли, как теперь перегоняются телята из одного поместья в другое.

Неурядицы и тяжелый оброк заставляли людей покидать свои края и искать счастья по белу свету.

Многие, скитаясь по свету, попадали на фабрики, рассмотрелись там, как работают, и возвращаясь домой, прикладывали на практике свой опыт.

Сказание об этом сохранилось среди старожилов, в виде передававшихся из рода в род легенд и рассказов про стародавнее житье.

Первые опыты создания фабрик (т. е. светелок, где ткань пряжи производилось ручным способом)—не преследовалось со стороны Шереметева и его служилых людей т. к. такие крестьяне исправнее других вносили подати, служилым же людям отсюда могло перепадать больше, чем от крестьянина, перебивавшегося на земле.

До наших дней о создании первых фабрик докатились весьма слабые данные. Однако известно, что в 1745 году была устроена первая в Иваново фабрика Ив. Ишинского для набойки полотен заварными красками, а в 1751 году полотняные Ф-ки Грачева и Гарелина, впоследствии преобразованные возвратившимися из шлиссельбурга жителями, в том числе Ивановцем—Соковым, вырезавшим, так называемые, „матры“ или „манеры“ для набивки ситцев.

Соков устроил свою фабрику на берегу р. Уводи (где находится Соковский мост) и первый применил практический, богатый, полученный на стороне во время своих вынужденных скитаний, опыт.

Когда вы глядите на Уводь, то всюду видите сваи в воде,—это остатки бывших фабричных мытилок.

В былинах „История села Иванова“ говорится о скитаниях ивановцев по чужой стороне.

„Понатерлися братья-странники, оглядели свет, обошли края, где работишка попадетса им—не побрезгуют силы, что-ли, нет?“

Лет пяток прошло, воротилися, стали жить в селе, поженилися“...

„Ты, грит, Машенька, говорит один, ты, грит, Дашенька, говорит другой, неча зря сидеть, аубоскальничать, за станки садись, да и тка холсты, И в евангелы даже сказано, что жена твоя—есть помощница“.

„Ну, а сами-то по дужим краям насмотрелися как их красили. И фасон иной, и сорочка есть, зная подкрашивай, не спрашивай“.

И далее говорится, что кое кто из Ивановцев начал набивать холсты вместейной краской (Иван Ишинский).

Вспом за ним Грачев
И Гарелины,
Побросав станки
Домотканные,
Строить начали
Свои фабрики,
Преогромные
Полотняные
Было много дел,
Было много мук.
На дался секрет,
Ошел от рук

Далее говорится, что:

Человек оди
Соков—прозвищем,

по своей натуре не усидчивый, не мог долго высидеть дома и пошел поглядеть и узнать и выпытать, как живут и работают люди на других фабриках в других городах.

Воротился он с богатых опытом и впервые применил опыт на собственной фабрике, построенной на р. Уводи.

Тогда река Уводь, зеркальная и прозрачная, прелегавшая между двух сел, Вознесенска—ныне Посада с мес. Ямы и селом Ивановым, впоследствии, в 19 столетии, соединившимися в одно,—была богата рыбой, а ее берега и низины—заливными, цветущими лугами, с богатой флорой и фауной.

От жителей невагод сюда, на живописные берега, сходились гулять крестьяне села Иванова, разсеять „тоску век вечную“, и река Уводь уведила их мысли от горькой жизни к беспредельному раздолью и свободе.

От этого она и получила свое название. В последствии, когда построились фабрики, стала называться так потому,—что уведила из города всю грязь и фабричные стоки.

В стародавних преданиях об Уводи когда еще не было фабрик, сохранилось до наших дней указание на рыбное богатство. У старожилов еще живо воспоминание о рыбных богатствах реки.

В материалах по истории Иваново-Вознесенска также говорится о неисчерпаемом рыбном богатстве.

Есть в публичной библиотеке большая картина полотно масляными красками художника Черкасова (1862 г.)—вид на Иваново-Вознесенск. Она живо дает представление о той реке Уводи, которая была и которой теперь нет, хотя уже на картине и отмечены первые три фабрики.

По преданиям, сохранившимся до

Наших дней от 1560 года вплоть до XVIII столетия, когда село Иваново перешло от Темрюковичей Черкасских в приданое за дочерью Черкасского к графу Шереметеву, захватившему не только Иваново, но и богатые лесные поместья вскруг города в пределах Владимирской и Костромской губ., — нам известно, что рыбы в реке было такое множество, что ловили ее не только сетями и неводами, но рыба попадалась и просто в ведра, когда женщины брали из реки питьевую воду.

Такие рыбные богатства обяснялись малой населенностью края. На 50 верст не встречалось жилья, — все шел лес и заливные луга, здесь разводилась рыба и потом уходила в омута, гуляя по реке в светлые дни целыми стадами.

Один бытописец, на основании преданий и сохранившихся до наших дней материалов о селе Иваново, говорит о тех временах, когда не было фабрик.

Той порой в реке,
В светлой Уводи
Рыбы множество
Полоскалося,
Решетом лови,
Черпай ведрами.
Да и так рукой —
Попадался...
Как построили,
Понаделали
Фабрик ситцевых
На краю реки, —
Нечистоты все
Ядовитые,
Краски крепкие
Отвели в реку.
Год от году шло —
Грязь копилася,
Рыба пражняя
Изводилася,
И реки сребро,
Нефтью, красками
И отбросами
Все покрылося.

На Уводи шли гулянья праздничными днями. Она „уводила“ от серой жизни, заставляла забывать ее, отвлекала от тяжелой действительности.

А жизнь была действительно легка, особенно для девушек. На здоровых, молодых девушек был не малый спрос, их различали с женихами и отправляли в столицу и другие поместья, их пересылали из усадьбы в

усадьбу, проигрывали в карты, направляли партиями холостякам-помещикам. И где то затерянные среди луговой поросли стояли давно-давно девичьи курганы, в которых хоронили девушек, вырвавшихся из торго и бросавшихся в омута Уводи.

Волеждстви в некоторых курганах находили кости и медные украшения!

Здесь, около девичьего кургана горевали о своей доле другие девушки, которым не задалась жизнь.

Девушек привозили возами и продавали их, кому желателно. Привозили девушек, главным образом, из Малороссии. Гандурины, напр., покупали слуг преимущественно из калмыков. Привозили их также из Астрахани, с Макорьевской и Ирбитской ярмарок.

Много времени прошло с той поры. Стали дымить трубы фабрик. Серебро реки покрылось нефтью. Рыба ушла, село разрослось в огромный город, ткацкие светелки — в огромные корпуса. Застучали сотни ткацких машин. Забил первый пульс промышленной жизни.

М. А.

У девичьей могилы.

Предание.

—х—

Ветра приглаживали ковыль старый, многолетний, падал снег на девичий курган, таял и снова одевался зеленой росписью. Тропа вилась по ивняку, доходила до кургана, огибала его и шла дальше к Посадскому поселку. Много веков это было назад. Вечерами прокрадывался к могиле из Покровской слободы Михайло Зотов, долго стоял, слушал как в слободе погасали голоса и таяли огни, рвал грудь свою печалью, мучился мукой неизреченой и не знал, на ком выместить обиду.

— Марийка моя, свет мой, да что это сделали с тобой? кому это нужно было? — душили его мысли.

До свету стоял он у кургана и еще не знал, что сделает, но чувствовал в себе поднимавшуюся силу.

Дивились люди в то время не мало, когда крик перекинулся ст Покровской слободы к Воздвиженскому ставу, и бежали все из Уводи, бросили дела, дома открытые оставили. Три были

на берегу, мокрые, вытащенные из омута, других искали, багром шарили в выемке у кустов. Мертвых положили рядом, родные по ним голосили, Михайло Зотов кидался в народе:

— Марийка где? Марийка... Сельванова. Она с ними, вместе была.

Шел с горы на крик податник боярский, Скопин Шуйского служива Зоська Кулепавый.

— Штой-та за сход? воров ништо пымали? Бока ништо мнут?

Ближе подошел,—видит, утопших ищут и других на берегу вынутых видит. Боится близко подойти: шибко народ шумит. И повернул назад к боярскому ставу, к избе резной князева приказчика.

Все эти годы утопших находят, а незадолго перед тем сказ боярский вышел; не допускать к омутам последников, живших последние дни на селе; да где углядишь?..

Каждый год велось—с Николы Вешнего базары большие у Покровского Посада на слободе. Сгоняют вотчинников-лужиков, женщин и девок в ряды поставят, а по рядам чужие заезжие князья ходят, мелом пишут на вороту, сгоняют в „мирсной двор“ и ведут в другую соседскую Суздальскую вотчину. Народ кланялся, не разлучать просил от семьи, падал под ноги князьям чужим, маятно жаловался богу...

Каждый год, целое лето перед сенокосом, перед жнитвом торги шли, народ покупали. И вчера только торги были, а сегодня вот пять девушек,—подруг из Ивановского заселья, бежали из „мирского“ дома, кинулись в воду.

Михайло Зотов бекешь сбр сил, разделся, нырнул с берега. Он выкидывался из воды, отдувался и снова нырнул в воду.

— К берегу мырять, под корягами, небось дело-то какое...—кричали с берега.

Багром-то шарь, у кустов, ближе,—советовали ездившим на плоту.

— Отнесло, поди, к стороне.

А на берегу народ прибывал. Оглядывались, видели—нет из боярского стана передатчиков барских, ругались, грозили, плакали, проклиная жизнь. А когда увидели податники боярского

Зоську Кулепавого,—шел он с двора к берегу,—снова стихли. Но в этой тишине, в тихом гуле слышались отдельные выкрики:

— Хомут одели... сели на шею...

— Кольями эту нечисть.

— Вон вон идут, рожи сытые. Им что? им бы только ездить на нас... кровососы.

Часа два шарили в омуте. На плоту стояла другая смена. Михайло Зотов, измучившись и простывнув, оделся, а народ и не думал расходиться. И только на другой день к вечеру вынесло утонувших у мельницы на Сластихе на вотчинниковом берегу.

Хоронили их неотпетых в одну могилу и один курган насыпали на берегу. Засветло приходили сюда девушки, горевали по ним и боялись быть долго за вечер: кости неотпетые стонали. Так передавала молва. Один Зотов Михайло долго стоял ночами у кургана, слушал, как погасали голоса и таяли огни над Покровской слободой и Ивановским селом и больно рвал свою грудь тоской, мучился мукой... Он еще не знал, что сделает, но нестерпимо хотелось отплатить за обиду.

Уж поговаривали, что вотчина от Шуйских отойдет к зоеводе к князю Черкасскому. И народ говорил про нового князя: это татарин—выкрест, жестокий и злой, и жить будет еще маятней. Передавали беглые из его вотчины: послушались двое,—псарню спустил, затравил на смерть собаками. И запарывал плетеным кнутом до беспамяти.

— Долго ли будем мукой мучиться?—говаривал Зотов.

Были сторонники. Они думали так же, как Зотов, и вместе решили известить весь княжеский стан.

Много прошло дней, как в девичьем кургане похоронили утопленниц. Село стало забывать о них, не забывали только немногие. Шла зима. Кругом мятели, село жило как притаившееся, темно было в селе, тихо, ждали жителя еще тягостнее...

А в княжьем стане горели огни, музыка вырывалась и виден был через окна целый дом гостей.

В первый день, Рождества княжеские гости сбили всю деревню,—шли

облавою на медведей и большие леса, окружавшие Иваново—село. Двоих подмяли медведи, рапорол живот одному, и когда стали роптать крестьяне, отобрали десятка два людей на конюшню и приказали выпороть.

В эту самую ночь над княжеским ставом взвился огонь. Кинулись гости из дома.—дверь оказалась припертой кольями, — это время кто-то из двора подбежал и отворил колья. Князя и их гости спаслись. А услужливого человека из двора, отворившего колья, заперли на смерть: его заповодили в поджог.

В эту же ночь сбежали из села, пустившись в бег, Михайло Зотов и с ним еще два человека. М. А.

„УГОЛЬ“

ОЦЕРК.

Неудачи японской войны, которые были причиной нарастания в рабочей среде оппозиционного настроения, говорили за то что первомайская массовка рабочих на этот раз будет более внушительной. Говорили за то, и яркий солнечный день, и удачное совпадение, что первое мая пришлось, как раз, в воскресенье.

Молодые, более смелые, стояли в этот день и за демонстрацию, но старшие в этом видели переоценку своих сил, относились к своему налаживающемуся делу более осторожно, бережно.

Но расчеты и последних, их ставка на искусную конспирацию, не оправдалась: рабочие не успели собраться, как по цепи парольных тут же пробежала фраза—казаки едут.

На лесной поляне, где массовка была уже открыта, задние ряды, принявшие эту фразу, дрогнули, что было замечено и стоящим на трибуне оратором, речь которого как то невольные сразу оборвалась.

Но вскоре он овладел собой, как только узнал, что их оцепили казаки, и он решительно заговорил о том, что расхотиться не стоит: на лошадах им лесом не проехать, а спешным им в лесу можно дать и отпор.

Но было поздно. Толпа начала таять и лес быстро наполнился шорохами бегущих людей.

Более смелые и решительные хотели было задержаться, но и ими овладело чувство самосохранения, и они припрятав имеющееся у них оружие, начали искать более безопасного выхода, осторожно вглядываясь вперед, нет ли где впереди рослых первомайских „одуванчиков“, так звали в этих местах астраханских казаков с желтыми лампасами и желтыми околышами.

Когда они подошли к лесной канаве и в недалеке послышались какие то подозрительные звуки, один из товарищей предложил на время всем залечь в канаву. И канавы быстро на довольно почтительное расстояние наполнилась живыми людьми, которым было и смешно, и в то же время горько обидно.

Среди других залег в канаву и Иван Карягин. Ему, как раз пришлось залечь на том месте, где эта канавка пересекала лесную дорогу и где у самой канавы красовался столб с доской, на которой было написано: Собрание грибов и охота в лесу купца Гагарина строго воспрещается.

Когда до Карягина донеслись звуки нескольких казацких выстрелов, он подумал: Охотиться на зверя здесь воспрещается, а на человека нет.. Как же это так? И в его воображении начала рисоваться другая картина: Нина Вологодина, с которой он вместе пришел на массовку, окружена казаками, раздаются удары их плетей, тонкая ажурная ее кофточка от этих ударов прилипает к телу, и ее большие красивые глаза под этими ударами еще больше расширились, еще стали более красивыми.

И Карягин, как бы стараясь этого не видеть, лицом припал к земле и чтобы заглушить боль сердца впился в землю зубами.

Потом он как то нервно вздрогнул как будто хотел с себя что то стряхнуть и встал.

Это был юноша лет 23-х, красивый, черный как семит, с воспаленными, горячими глазами и ярко алыми губами.

Когда он вошел в партию и на одном из ее собраний ему нужно было избрать себе псевдоним, то кому то за него его внешность подсказала, что он должен называться Углем, что он

очень похож на искрящийся уголь. И эта кличка с тех пор так за ним и осталась.

И этот Уголь как будто бы вдруг разгорелся, когда он сказал:—Товарищи! я иду на разведку. Но о том, что его беспокоит Нина Вологодина он умолчал.

И если бы товарищи вгляделись в его походку, когда он стал от них уходить, то могли бы смело сказать, что он пошел не на разведку, а за чем то другим.

Уголь не успел растаять с товарищами, как увидал недалеко от себя спешенных казаков.

Вернуться, убежать назад или свернуть в лес, в сторону, он не хотел, боясь этим выдать оставшихся и он смело пошел навстречу казакам.

Казаки встретили его словами:— Еврей! Ты то, брат, нам и нужен!..

И Уголь, не дожидаясь ударов плетей, закрыл лицо руками, зная, что бойня неминуема. И бойня началась. Его сбили с ног и могли бы совсем добить, но к счастью один из ударов плетей, пришлось, как раз, по вороту его рубахи, которая от удара плети растянулась и на его груди казаки увидели крест.

Крест этот Уголь носил как благословение матери, которым благословила она его умирая.

Не еврей! Раздался чей то казачий голос. И это слово прозвучало какой то командой: бойня прекратилась. Казаки отправились к лесной сторожке, где они оставили своих коней, а Уголь лежал в глубоком обмороке.

Лесной сторож Трифон недолюбливавший казаков за то, что они в летнее время своими набегами разгоняли его гостей лишали его доходов от „чаепития на вольном воздухе“, был и на этот раз ими недоволен, а когда они ему рассказали, что у них сейчас было „дельцо“, то и возмущился ими еще больше.

И казаков, как незваных гостей, он постарался поскорее выпроводить, и только что они отъехали от сторожки, как он тут же вскинул на свои плечи ружье, скомандовал своей собаке Барсику:—Ай да! И отправился в лес.

Трифон как бы пошел в обход, обошел кругом сторожку и вышел на лесную дорогу. Барсик далеко забежал вперед и вскоре залаял.

Трифон сразу догадался, что Барсик его зовёт к месту казачьей расправы и он свои шаги ускорил.

Уголь в это время от обморока очнулся и увидав себя в обществе собаки, горько улыбнулся.

Но скоро эта улыбка сменилась другой улыбкой.

Помощь и участие подошедшего Трифона засавила его улыбнуться по другому, более радостно.

И затаив боли, затаив крики негодования, Уголь поднялся с земли.

Чувство какого то бы ни было самосохранения его совсем покинуло.

Куда бы теперь не пойти, ему было все равно но Трифон знал, что власти с большого и изуродованного человека спросят столько же, сколько и со здорового, и он на время предложил ему укрыться в его сторожке.

Уголь на это согласился.

Обстановка новой случайной кватирты на него подействовала ободряюще, он видел, что с Трифоном можно дело делать и на другой же день через него он дал знать в город, где он находится.

Общие заботы уцелевших товарищей, многие из них были арестованы, подняли на ноги все, чтобы спас и Угля от ареста.

Первой к нему в сторожку явила.ь Нина Вологодина, и она слушательница фельдшерских курсов, принесла туда все, в чем нуждался Уголь как больной.

Благодаря ее уходу Уголь скоро поправился.

Когда они поздно ночью возвращались в город, то огни далеких звезд, лесные птичьи голоса, скрипы проезжающих деревенских телег и их сердца говорили об одном, что жизнь должна быть иной, над всй должна не плеть висеть, а сиять солнце, гореть звезды, и что у них должно быть и личное счастье, но чтобы с этим личным счастьем рука об руку шла и забота о счастье других.

А. Ноздрин.

ЧОРТ.

Чудной человек Антон Антоныч! Которые мужики уверовали в большевизм, которые—в анархиста, а Антон Антоныч в чорта уверовал.

Есть чорт на свете, есть и колдовство всякое. В этом Антон Антоныч хрепко уверился! Плюнул он один раз против ветра—и сразу по губам болячки пошли; значит по ветру порча была пущена. Не иначе. И опять же луна эта самая; как упрется в окно, так Антон Антоныч встанет с подстилки и зачнет, ровно полумумный ходит по избе. А то и на волю выйдет, на крышу полезет,—по стене, как кошка, цепляется. А на утро—хоть убей—ничего не помнит. Боится Антон Антоныч луны. Есть в ее неживом свете что-то волшебное, таинственное страшное и вместе с тем притягательное..

Нет, что ни говори, а есть чорт на свете. Особенно же крепко убедился Антон Антоныч в существовании чорта после одного случая.

Приехал Антон Антоныч из города с базара, иззяб, притомился и скорее на печь полез—даже поесть позабыл. Тепло на печи, хорошо. В раю Божием едва ли лучше...

Ночью Антону Антонычу почудился тихий стук в окно.

Поднял Антон Антоныч с валяного сапога, служившего ему изголовьем, свою лохматую голову с рыжим клином бородки, поглядел в окошко.

Месяц светит. Окошко—все в голубой ризе инея так и сверкает, так и мерцает, как униженный драгоценными камнями образ. А за окошком словно какая-то тень теннеет.

Слез Антон Антоныч с печи. Припал к окошку. Спрашивает.

— Кто там?

— Я.. Выдь ка на волю,—чудится Антону Антонычу.

Голос ровно-бы знакомый. Сиплый и маленько в нос. Таким голосом дычек Петр Лексеич часы читает.

— Али дело какое?—спрашивает опять Антон Антоныч.

— Дело... Важнеее дело,—мерещится ему.

Накину кислый тулуп, вышел Антон Антоныч на волю.

Месяц то, месяц то! Так и светит так и печет белым пылом. Мохнатые березы у задворок превратились в купину: горят радужными искрами и не сгорают.

— Петр Лексеич, ты?

Ничего не ответила темная тень, только поманида за собой:

— Пойдем!

Послушно двинулся Антон Антоныч за черным человеком. Укатанная дорога—с голубыми тенями в выбоинах и западинах—блестит, как стеклянная.

Какой печальный, какой бледный лунный свет! Еле выступают в этом свете мертвенные снежные равнины, слабо темнеет гребешок дальнего леса.

Пропала дорога.

Пошел сугроб.

По пояс вязнет Антон Антоныч. Легкою тенью скользит над сугробами черный человек. Человек ли?

Страшно Антону Антонычу.

— Кто ты?—в отчаянии крикнул он:—Коли человек, отовись!.. Коли нечистый, расточись.

Оборотил незнакомец на Антона Антоныча собачье лицо и засмеялся. Дико смотрит он и дико смеется.

Дыбом встали у Антона Антоныча волосы, застыл на лбу горячий пот, дрожь пробежала по спине...

А черный все смотрит. Кажется, в самое сердце смотрит он—и сердце леденеет от ужаса. Гроном раскатился страшный смех по безжизненным просторам, радужно сияющим под холодной луной.

Сбрав все свои силы, Антон Антоныч перекрестился и увидал себя сидящим на верушке снежного омета... Это—попов омет. Вон и церковь сверкает, как сахарная, а вон и село...

Как-же после этого Антону Антонычу не верить в чорта?

Конечно, Антон Антоныч—темный человек; в книжку читать не может, потому с него многого и спрашивать нельзя.

Мужики и не спрашивают.

— Веруешь в чорта—и ладно.. Веруй!

Только гармонист и камунир Сапка нет-нет да и посмеется:

— Что Антоныч? Говорят, ты чорта видел? Не похож он на нашего поч-

тенного кулака Василия Поликарпыча?

— Нет,—скажет Антон Антоныч, пощипывая худенькой детской ручкой клин рыжей бородки,—он больше смахивает на дядька Петра Алексеича... И голос такой же, ни дать ни взять...

— А я думаю,—смеется Сашка,—что это неискраправдушный чорт. Настоящий чорт—это наш уважаемый Василий Поликарпыч. А только этого чорта ни крестом, ни пестом не возьмешь... Окромья декрету на него ничего не действует...

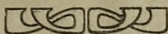
Мужики так и грохнут, так и покатаются от смеха.

Смейтесь, смейтесь!

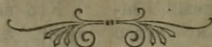
Пушай грамотники прозрители Антона Антоныча „несознательным“ называют, пушайфельдшер Петр Васильич его „лунатиом“ зовет, а только Антон Антоныч веровать в чорта не отстанет. Своими глазами видел.—удо стоверился, так сказать.

Кто верит в коммуни, кто—в анархизм, а Антон Антоныч—в черта. Конечно, если бы он в книжку мог читать, тогда—другое дело. Да вот беда: грамоте не знает,

Дм. Семеновский.



На складе Иваново-Вознесенского Губернского Отделения
Центропечати можно получить следующие издания группы
Иваново-Вознесенских поэтов и литераторов.



Крылья свободы. Советский песенник и декламатор, г. Ив.-Вознесенск 1919 г. 100 стр.

Красная улица. Стихи и песни Иваново-Вознесенских поэтов, 1920 г. 112 стр.

Сноп. Сборник стихов и рассказов, город Иваново-Вознесенск 1920 г. 72 стр.

Дм. Семеновский. Красная зорька, пьеса для деревенского театра в 3-х действиях. 1919 г.

Мих. Артамонов. Земля родная. Стихотворения. Издательство Петроградского Совета 1919 г. 128 стр.

Ярь. Сборник стихотворений; Германова, Мих. Артамонова и Субботина, издательство „Костер“ 1920 г.

А. Воронский. Товарищ Фрунзе (Арсений). В связи с разгромом Врангеля. г. Ив.-Вознесенск, 1920 г.

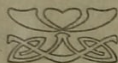
Ив.-Вознесенский губернский календарь-справочник за последние три года.

Ив. Жижин. Светлая весть. Драматический этюд в стихах, с предисловием Аркадия Савина. (Печатается).

Ив. Жижин. Сборник стихотворений, Принят к печатанию в Лита Наркомпресса. Москва, 1921 г.

Мих. Артамонов. Песни земли. (Печатается в Петрограде).

Рабочий Город. Сборник стихов и рассказов, Иваново-Вознесенск. (Готовится к печати).



2002

